ЕВФРОСИНИЯ КЕРСНОВСКАЯ НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

ЕВФРОСИНИЯ КЕРСНОВСКАЯ

НА-
СКАЛЬНАЯ
ЖИВОПИСЬ



„Страна, которая не знает своего прошлого – не имеет будущего"!... почему я и напоминаю эту часть прошлого, которое запечатлелась в моей памяти. 25/VIII – 90го года

Е. А. Керсновская.

Евфросиния КЕРСНОВСКАЯ „...беззакония наши свидетельствуют против нас..." НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

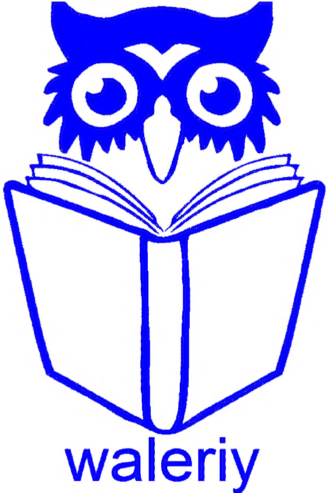
Семья Керсновских. Одесса 1911 г

МОСКВА СП «КВАДРАТ» 1991

Редактор-составитель, автор предисловия
Владимир Вигилянский

Оформление и макет
Борис Трофимов

Основная фотосъемка
Юрий Бродский



Евфросиния КЕРСНОВСКАЯ. Что это? Мемуары? Нет! Листки, вроде выцветших фотографий, которые дороги лишь тем, кто в расплывчатых изображениях узнает лица давно умерших людей — родных, друзей, а в данном случае и врагов? Нет! Что же? Это **наскальная живопись:** пусть неумелые рисунки, начертанные неопытной рукой на стенах пещер, но помогающие людям представить себе, как их отдаленные предки охотились на мамонтов, каким оружием они пользовались — одним словом, понять их быт и жизнь.

Время бежит. Нас, современников той эпохи, тех событий, о которых здесь пойдет речь, становится все меньше; инстинкт самосохранения (вернее, то, что называется «житейской мудростью») заставляет их сперва — молчать, затем — поддакивать, а в конце концов — поверить всей той лжи, которая, как пыль, тонким слоем садится на картину прошлого. И когда уже невозможно ничего разглядеть — ее подменяют тем, что выгодно выдавать за правду. Кто из «живых свидетелей» осмелится опровергнуть официальную версию? Свидетели умирают. С ними умирает правда.

Мама! Дорогая моя старушка! Мой первый и последний, единственный и незаменимый друг... Тебя уже нет, но ты — во всём, что меня окружает: это кресло — старое, но удобное (я его купила, потому что ты любила всё «уютное»); стол — легкий и низкий, чтобы ты могла к себе его пододвигать; множество подушек — твои «zastrele», — чтобы тебе всегда было удобно;

К $\frac{4702010204}{939-91}$ Без объявления

ISBN 5-85202-057-5

© Е А Керсновская рисунки, текст и слайды 1991 г
© В Н Вигилянский вступительная статья, составление 1991 г
© Б В Трофимов оформление и макет 1991 г

радио, проигрыватель, множество пластинок (и сколько ты еще собиралась купить!). Ты так любила музыку! Она была тебе нужна как воздух... Ведь недаром, в канун твоей смерти, когда тебе не хватало воздуха, ты просила поставить «Ивана Сусанина». Тебе не хватало сил подпевать любимым ариям, но слабеющей рукой—дирижировала: «Ты взойди, моя заря последняя...»

А картины? Ведь это твоя «галерея» развешана повсюду, куда бы мог упасть твой взор! Я их рисовала для тебя, думая о тебе... Я начала рисовать там, в Норильске,—сразу после того, как вышла из лагеря. Не было еще ни тюфяка, ни простыни, не было даже своего угла, но я уже мечтала нарисовать что-то красивое, напоминающее прошлое—то прошлое, которое неразрывно было связано с тобой, моя родная!

Я рисовала и в мыслях бродила с тобой по тем местам, которые изображала. Где-то в глубине души жила надежда, что ты жива—это был тот слабый огонёк надежды, без которого жизнь темна. Ведь есть же разница между абсолютной темнотой, окружающей слепого, и, пусть самым слабым, зрением, когда еле-еле видишь источник света! Не потому ли ты так любила мои «картины», моя дорогая?

Ты так хотела, чтобы я рисовала! Вообще, ты желала, чтобы жизнь моя была полней, интересней и, даже будучи больной, ты уговаривала меня: «Пойди, посмотри фильм! Vas! J'aime tant quand tu vas au cinema! (Я так люблю,

когда ты ходишь в кино!). Я не хочу, чтобы ты из-за меня лишала себя развлечений».

Я не могла сказать тебе, что мне—не до развлечений. Что тоска и предчувствие цепко держат меня. Что мне хочется взять тебя на руки и грудью заслонить тебя от неумолимого рока. Единственное, что я могла придумать, это—рисовать...

Ты сидела в кресле и раскладывала пасьянс. Ты смотрела на меня своими добрыми, влюбленными глазами и не переставала восторгаться: «Vraiment, tu as du talent! Tu das faire de la peinture! Absolument! Promez le moi!» (Ты талантлива! Ты обязана заниматься живописью! Это точно! Обещай мне!)

Ты хотела, моя дорогая, чтобы я тебе обещала, и твоя воля—для меня свята. И еще об одном ты меня просила: записать историю тех лет—ужасных, грустных лет моих «университетов». «Ты иногда рассказываешь—то отсюда кусочек, то оттуда... Я никак не разберусь! Напиши всё подряд—и я, может быть, пойму, что произошло с тобой».

Нет, дорогая моя! Ты всей этой грустной истории не узнала... И не оттого, что ты—там, «идеже несть воздыхания», а оттого, что вся моя жизнь в те годы была цепью таких безобразных и нелепых событий, которые не умещаются в разуме нормального человека и не доходят до чувств того, кто этого не пережил!

Вот и получилось—«вместо предисловия».

Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ **ЖИТИЕ ЕВФРОСИНИИ КЕРСНОВСКОЙ** *Евфросиния (греч.) — радость.* Есть человеческие судьбы, являющиеся ключевыми для целого поколения. В них сосредоточиваются нервные окончания эпохи. В них — что ни страница биографии, то символ. По ним потомки изучают историю, нравы, быт. Горний дух носителей этих судеб обычно испытывается самым грубым образом: он обречен пройти круги земного ада, соприкоснуться с невероятными жестокостями и нечистотами материального мира, но и призван, преодолев их, познать красоту и величие бытия. Чаще всего для современников эти люди являются чужаками, изгоями, нравственными инородцами. Их слова и поступки постоянно приходят в противоречие с инстинктом самосохранения, с так называемым «здравым смыслом», они не вмещаются в законы этого мира, тем самым отвергая его самодостаточность. Они неисправимые «донкихоты». Они ведут себя так, словно им вручена какая-то тайная власть, и эта тайная власть есть дар свободы, которым они так царственно, так непостижимо распоряжаются. Проходит время, и люди начинают постигать смысл и значение этих судеб...

На мой взгляд, жизненный опыт, судьба Евфросинии Антоновны Керсновской дают все основания причислить ее именно к такому роду людей. О своей жизни она поведала сама, написав книгу воспоминаний и проиллюстрировав ее своими же рисунками.

Книга Е.А.Керсновской — памятник уникальный. К сожалению, любая попытка определить во всей полноте и объеме эту уникальность обречена на провал: сколько ни пиши об этой книге и об этом человеке, всегда не будет хватать слов, чтобы передать ту степень одаренности и свободы, каким обладает автор. За пределами любой статьи, посвященной Керсновской и ее книге, всегда останется множество недосказанностей. При всей простоте и доступности ее литературного и изобразительного языка, невозможно разгадать до конца, как удается автору с легкостью преображать факт в художественный образ, конкретный жизненный опыт — в стройную и убедительную концепцию мира. Эта тайна преумножена, помимо всего прочего, фантастическим несоответствием между более чем скромным замыслом (выполнить завещание матери — рассказать о двадцатилетии их разлуки) и его воплощением (создание книги, которая, без сомнения, останется одним из оригинальнейших памятников культуры XX века).

Свои воспоминания Е. А. Керсновская писала в 1963—1964 годах, т. е. задолго до появления известных ныне художественных и документальных свидетельств о сталинских лагерях («Архипелаг ГУЛАГ» А.Солженицына, «Крутой маршрут» Е.Гинзбург, «Колымские рассказы» В.Шаламова, «Непридуманное» Л.Разгона, «Погружение во тьму» О.Волкова и др.). Все эти годы Евфросиния Антоновна хранила свою рукопись в тайниках, в разных городах у знакомых, боясь обыска и уничтожения книги. Такие опасения имели основания: уровень правдивости и степень разоблачения режима были таковы, что даже при публикации отрывков книги в «перестроечный» 1990 год она подверглась (пусть небольшой, но все-таки!) политической цензуре. В 70-е годы автору предлагали переправить книгу на Запад, но она отказалась. Привыкла думать, что рукопись предназначена для потомков, для тех времен, когда в Отечестве не будет цензуры...

Опыт гонений, а может быть, лагерная смекалка заставили Евфросинию Антоновну сделать несколько копий. Переписывала от руки и иллюстрировала все двенадцать общих тетрадей и в 60-е, и в 70-е годы. Когда в начале 80-х друзья перепечатали рукопись — сделала заново и к ней иллюстрации, на этот раз на обороте машинописных страниц. Труд — титанический, если учесть, что в книге 1500 страниц и около 700 «картинок». Одна редакция (промежуточная) представляет собой только иллюстрации с расширенными подписями. Выполнены они в простых ученических тетрадях (в клеточку или линеечку), материал — шариковая ручка, дешевые цветные карандаши, иногда — белила, акварель, тушь.

В «картинках», на мой взгляд, вся соль. Ну где, в каком еще уголке мира найдешь такого скрупулезного художника, который в ученических тетрадках ведет свою «гулаговскую» изолетопись, не заботясь ни о качестве бумаги, ни о сохранности рисунков (ох, как нужны им были бы специальные прокладки!), ни о трудностях (в будущем) репродуцирования иллюстраций (слишком покаты тетрадочные сгибы)!

По манере — это типичная альбомная живопись, весьма распространенная в дворянской культуре XIX века. Только вместо пейзажей, портретов, раскрашенных цветочков, фигурок животных и сказочных персонажей здесь запечатлен весь мрак и быт сталинской эпохи в ее жестокой и зловещей обнаженности.

В этих картинках — целая энциклопедия. В них такой познавательный материал, какой не может дать ни один добросовестный мемуарист, ни один сборник документов. Цепкий глаз художника схватывает ситуации, которые никогда не могли быть зафиксированы фото- и киносъемкой (не подпускали к ГУЛАГу фотографов и кинооператоров!): жизнь тюремных одиночек и общих камер, ужасы пересылок, этапов, быт лагерных бараков, работа заключенных в больнице и на лесоповале, в морге и шахте.

Керсновская помнит все — и как выглядела параша, и во что были одеты з/к, и как проходили допросы, «шмоны», драки, мытье в бане, оправка, захоронения «жмуриков», поверка, лагерная любовь. С лубочной лапидарностью, понятной и взрослым, и детям, рисует она свою двадцатилетнюю жизнь на воле и в ссылке, в тюрьме и на каторге, своих товарищей по несчастью и палачей.

А какие типы в этих рисунках: вертухаи, урки, профессора, попавшие в заключение, спецкаторжане, малолетки, доходяги, крестьяне, стахановцы, пеллагрики, «мамки», коммунисты, «жучки», бригадиры, «коблы», «кумовья», проститутки! И все это схвачено автором с кинематографической точностью. Почти нет никакой статики — все у нее движется, действует, «живет» в рисунке. Психологическая и эмоциональная нагруженность «картинок» — на пределе.

Кроме того, рисунки играют еще одну, причем, на мой взгляд, весьма важную роль. Повествование ведется от первого лица, а иллюстрации сделаны от третьего (в большинстве случаев на рисунках изображен сам автор). Взгляд Керсновской-писательницы непосредственный, как бы изнутри, а Керсновской-художницы опосредован, чуть сверху или со стороны оценивающий ситуацию и поведение героев. Эта перекличка, диалог текста и иллюстраций создает эффект объемности, стереоскопичности. Они не просто дополняют друг друга, но создают еще одну, новую реальность.

Евфросиния Антоновна ни художником, ни писателем-профессионалом себя не считает. «Воспоминания» — это первый и, видимо, последний ее опыт словесного творчества. Что же касается рисования, то она, по ее признаниям, впервые взяла в руки кисть только на поселении в 50 лет. Откуда же такое мастерство? Откуда умение выбрать точный ракурс, знание законов композиции, способность передать намеренно «наивными», «лубочными» средствами глубокую достоверность и психологическую насыщенность изображения? Безусловно, свою роль здесь сыграли воспитание и врожденная культура автора. Родители (отец — юрист, мать — преподаватель иностранных языков) дали ей неплохое образование, привили любовь к музыке, литературе. Французский язык знает в совершенстве, кроме этого — румынский, английский, немецкий и итальянский языки. В детстве, конечно, рисовала, но стеснялась показывать свои изобразительные опусы, поскольку в семье был замечательный художник — ее брат; приходилось рисовать и в лагере... Все это, конечно, важно, но абсолютно несоизмеримо с тем уровнем таланта, какой являет собой созданный ею памятник. Этот уровень подразумевает кропотливую многолетнюю выработку мастерства, каждодневный труд и писателя, и художника. А ведь для этого не было ни времени, ни возможностей.

По всей видимости, здесь мы сталкиваемся с феноменом совсем иного рода. Та ранняя зрелость, которая поражает нас в наших предках-дворянах, объясняется не столько системой их образования, сколько тем, что само ядро личности формировалось в них с самого детства — церковью, традициями, бытом, окружением — самой общекультурной и религиозной атмосферой. Живопись и писательство для Керсновской было только одним из способов выражения ее цельной личности, чувство внутренней гармонии оказалось в данном случае родом художественной интуиции, общая природная одаренность, сконцентрировавшись на одном виде деятельности, заменила собой то, что мы называем профессионализмом, то, что достигается опытом.

Опыта творческой деятельности у нее не было, но был иной опыт — опыт *противостояния* всей дьявольской мощи лжи, насилия, унижения, какую обрушил на человека наш «гуманный», рвущийся к светлому будущему XX век. И чем более изощренным было давление, тем крепче был дух этого противостояния, тем тверже и обнаженней становилось ядро личности.

Е. А. Керсновская попала в СССР (читай — в ссылку и лагерь) человеком сформированным. В 1940 году, когда Бессарабия, где она жила с матерью, была оккупирована советскими войсками, ей было более 30 лет. В Румынии ее семья поселилась в 1919 году. До этого они жили в Одессе. Отец, известный в городе адвокат, был арестован большевиками и приговорен к расстрелу вместе с 700 человеками, также, как и он, не захотевшими, как уходили белые, покидать Родину. Спасло его чудо. Конвоир, перегонявший колонну арестованных до места расстрела, узнал в отце человека, который когда-то ему помог. Евфросиния Антоновна уверена, что отец был спасен, благодаря молитвам матери, которая после его ареста не выходила из церкви. В ту же ночь, договорившись с рыбаками-греками, вся семья была переправлена по морю в Румынию, оставив дом и имущество на разграбление новым властям. Там, в Бессарабии, рядом с городом Сороки, в деревне Цепилово, было у отца родовое поместье, купленное еще дедом, но разделенное со временем наследниками на маленькие участки земли. После того, как Евфросиния Антоновна окончила гимназию, отец хотел продать находящееся в упадке хозяй-


Мой папа


Дача «Фроза» Кагул


Мама Ученица пансиона в Гальце 1892 г


Дедушка, бабушка и их дети


Мы с Антоном


Мама и я


Мой папа


Антон, фрейлина Эва Фотих и я Одесса 1915 г


Мама


Я со своим женихом


Моя другая бабушка, мой другой дедушка


В Бессарабии


Я — гимназистка


Миша Георгица, Ира Левицкая и я

ство, чтобы она смогла получить высшее образование в Париже. Но Евфросиния Антоновна переубедила его. Решила стать фермером. Разводила свиней и овец, сеяла рожь, ячмень и кукурузу, обрабатывала виноградник... Отец умер накануне вторжения советской армии в Бессарабию. Брат воевал против немцев на стороне французов (в дальнейшем, после тяжелого ранения, он умер от туберкулеза в 1944 году). Ее с матерью выгнали из дома и отобрали все то немногое, что они заработали своими руками. При первой же возможности Евфросиния Антоновна отправила маму в Румынию, а сама решила твердо остаться в СССР.

Так вот, попав в ссылку, а потом — в лагерь, Керсновская за плечами имела абсолютно иной опыт, нежели А.Солженицын, В.Шаламов, Е.Гинзбург, Л.Разгон и многие другие, те, кто писал о лагерях, кто был хорошо знаком с советскими порядками, кто впитал в себя весь комплекс того, что мы сейчас называем «хомо советикус». Многим из этих замечательных писателей в неволе и после нее приходилось вытравлять из себя все навыки и ложные мировоззренческие стереотипы, полученные ими в школе, в семье, в институте и на службе. Керсновской были априорно чужды установки советских людей с их враждебностью ко всякого рода духовной независимости, индивидуальности, свободе. Она не была заражена мифом о «социальной справедливости» социалистического общества, который позволял, с одной стороны, господствовать в стране самой чудовищной форме эксплуатации — уравниловке, с другой — создать такое расслоение в обществе, какого никогда не было до переворота 1917 года. Ей казались дикими в людях, с которыми она встретилась в СССР, покорность и страх перед произволом властей и в то же время признание родства с авторитарно-бюрократическим режимом. «Хомо советикус» — это человек идеологизированный, причем идеология в СССР приобрела форму религии. Она встречала здесь политических еретиков, но сама себя таковой не считала, поскольку и еретики осознавали себя в системе координат господствующей идеологии. Особенно отвратительна для нее была повальная, ничем не прикрытая, пронизывающая всех и вся, ложь. Самое ужасное было то, что ложь постоянно выступала в виде правды. В лагере все признаки «хомо советикус» обнажены наиболее отчетливо. Многие честные люди, одурманенные официальной мифологией, попав в неволю, прозревали. Отсюда, казалось бы, парадоксальное признание А.Солженицына, что он благодарен судьбе за то, что был репрессирован. Евфросиния Антоновна лагерь воспринимала по-иному...

ИЗ КНИГИ Е.А.КЕРСНОВСКОЙ: «Лагерь — это хитроумное изощренное приспособление, чтобы ставить людям ловушки, используя все их слабости, а иногда и достоинства, и добродетели — для того, чтобы, вывернув наизнанку, поставить его в такое безвыходное положение, что он может и не заметить, как сделает подлость, а сделав ее однажды, становится жертвой шантажа... И дальше — это, как трясина, как «пески-зыбуны»: чем больше барахтаешься, тем глубже увязаешь, и, попав на путь предательства — вольного или невольного, — назад возврата нет... За 12 лет лагерной неволи я видела много примеров такого рода трагедий. Но видела также, как люди настолько входят в роль, что этой «трагедии» не ощущают. Более того — некоторые даже ставят себе предательство в заслугу».

Любопытно, что задолго до появления романа «В круге первом», в котором метафора дантовских кругов ада, применительно к сталинским лагерям, играет немаловажную роль, ее использовала в своей книге Е.А.Керсновская. Вообще, в будущем наверняка появится сравнительное исследование книг Солженицына и Керсновской. Конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» и книга Евфросинии Антоновны преследуют совершенно разные цели, разнятся они и по жанру, и по языку, однако объединяет их, помимо объекта художественного исследования, помимо масштабности, энциклопедичности обеих книг,глубина и доказательность обвинительного пафоса против любого тоталитаризма, любого насилия над личностью, против лжи и подавления свободы. Осмелюсь сказать даже, что по эмоциональному воздействию каждая из этих книг не уступает друг другу...

В «Архипелаге ГУЛАГ» многие страницы посвящены проблеме принудительного труда, много пишет об этом и Керсновская. Трудностей она не боялась, любила работать, физический труд для нее не был унизительным. Однако свободный труд от каторжного существенно отличается. Многие, кто на воле считался хорошим работником, в лагере ломались: они презирали рабский труд и очень скоро превращались в «доходяг», затем быстро умирали. Но не так было с Евфросинией Антоновной. В ссылке она валила лес, в лагере работала медсестрой в больнице, в морге грузила трупы, строила дома, копала землю, ухаживала за свиньями, таскала на своих женских плечах стокилограммовые мешки и ящики, в полярный мороз убирала снег и долбила лед на железнодорожных путях, в Норильске испытала на себе все тяготы шахтерского труда (восемь лет она скреперистом, горным мастером, взрывником провела в подземелье!). Но и в нем, в этом рабском труде за пайку хлеба, она находила свои радости. Самым большим наказанием для нее было безделье. Во время этапов, пребывания в тюремных камерах она сама искала себе работу: выносила парашу, занималась уборкой и раздачей пищи. Работа была ее *защитой*. Об этом Евфросиния Антоновна не пишет, но мне кажется, что трудом она защищалась от уныния и отчаяния, в которые так легко было впасть заключенному. Чем тяжелее работа, за которую она бралась, тем легче она преодолевала в себе психологию жертвы. Благодаря труду она ощущала себя хозяином своей судьбы. Именно поэтому она каждый раз выбирала себе наиболее тяжкое в физическом смысле испытание, пока по своей воле не добилась самой чудовищной, тем более для женщины, работы в шахте. Даже после освобождения, когда у нее была возможность найти работу полегче, она выбрала подземелье. Именно здесь под каждодневной угрозой смерти люди ощущали себя наиболее свободными. Вся та часть книги, которая посвящена шахте, приобретает большой символический смысл. Равноправию и свободе нет места на земле, какое-то минимальное приближение к ним есть только в подземелье. Работающие здесь как бы оставляют на поверхности все путы внешнего и внутреннего рабства и освобожденные, равные друг перед другом, спасаются в труде...

Но не только работа была ее защитои. Была еще и система нравственных законов, которая оберегала ее от падений духовных.

ИЗ КНИГИ Е. А. КЕРСНОВСКОЙ: «Раз и навсегда приняла я решение: никогда не задавать себе вопроса «что мне выгодно?» и не взвешивать все «за» и «против», когда надо принимать решение, а просто задать себе вопрос «а не будет мне стыдно перед памятью отца?». И поступать так, как велит совесть.

Глупость? Донкихотство? Может быть... Но это придавало мне силы и закаляло волю: у меня не было сомнений, колебаний, сожалений — одним словом, всего, что «грызет» человеку душу и расшатывает нѐрвы... Ведь вся жизнь — цепь «соблазнов». Уступи один раз — и прощай навсегда душевное равновесие! И будешь жалок, как раздавленный червяк.

Нет! Такой судьбы мне не надо: я — человек.

Так как же должен был поступать этот «человек», когда ему предлагают подписать «обязательство», что он, дескать, порывает всякие отношения с теми, кто остался в неволе, и вдобавок обещает забыть все, что там было, что он видел и пережил, и никогда и никому ничего о лагере не разглашать?!

Ознакомившись с содержанием этого документа, я с негодованием отказалась его подписать:

— В неволе я встречала много хороших, достойных всякого уважения людей. Кое-кто еще там остается. Я сохраню о них добрую память и рада буду им быть полезной. Забыть же то, что я там видела и пережила, — это абсолютно невозможно! Даже проживи я еще сто лет!

— Но эта подпись — простая формальность!

— Подпись — это слово, данное человеком. А человек сто́ит столько, сколько сто́ит его слово. Я не могу так низко себя оценить!..

И меня отвели обратно...»

Я долго не мог сформулировать ощущение, возникающее во время чтения этой книги. Наконец понял — *радость*. Да — ужасы, да — кошмары, садизм и беззакония, да — ложь, смерть и унижения. Всего этого полно на ее страницах. И вместе с тем — радость. Радость оттого, что соприкасаешься со свободным человеком. Причем полнота этой свободы кажется фантастической!

После побега из ссылки (1942 год), когда Евфросиния Антоновна прошла за зиму, весну и лето около полутора тысяч километров по сибирской тайге, обходя населенные пункты, питаясь скудными лесными дарами, ее наконец ловят, отправляют в тюрьму, судят и выносят приговор: «к высшей мере социальной защиты — расстрелу». На другой день ей дают лист бумаги, на котором она должна написать «просьбу о помиловании», или «кассацию». Что делает человек, которому дорога жизнь? Конечно, пишет... Но не Евфросиния Антоновна. Ей жизнь, безусловно, очень дорога, но ведь человек в ее понимании «стоит столько, сколько стоит его слово». Она возвращает бумагу. Еще через день пораженные тюремщики, которые, наверное, никогда не сталкивались с подобными безумцами, вновь приносят ей бумагу, на которой она, накануне смертной казни, в конце концов пишет: «ТРЕБОВАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ — НЕ МОГУ; ПРОСИТЬ МИЛОСТИ — НЕ ХОЧУ».

Поразительно, но казнь заменили десятью годами лагерей.

Она обладала высшей степенью свободы, когда и в тюрьме человек себя не чувствует рабом. Страх перед смертью для нее был неизмеримо ниже, чем боязнь потерять внутреннюю свободу.

Именно за это ее ненавидели тюремщики, доносчики, урки, парторги, работники «органов». Они нутром чуяли в ней эту силу, которая начисто отсутствовала в них, и всячески пытались противоборствовать ей. Но Евфросиния Антоновна оказалась победителем.









Мама. Румыния 1957 г



Первые дни с мамой в Ессентуках



Ессентуки. 1958 г



Мама в самые печальные дни своей жизни



1960 г



Доктор Мардна и я Таллинн 1961 г



1958 г



Маруся и я. Одесса



1990 г.

Фото Ганс Ю. Буркхард



1990 г

ИЗ КНИГИ Е.А.КЕРСНОВСКОЙ: «Когда в водоем не поступает свежий воздух, на дно водоема опускается все, что было живым и погибло без воздуха. Эта грязь разлагается, выделяя зловонный и ядовитый сероводород; когда в духовный мир человека не поступают свежие мысли,чувства и переживания, в душе его так же оседает черная, зловонная тина. Страх может взболтать эту тину, и тогда ядовитый сероводород распространяет такое зловонье, что может отравить все и всех!

Гибель живой души в лагерях, рабство способствуют образованию и накоплению ядовитого сероводорода. Следователь при посредстве изощренной системы доносов и допросов ворошит этот зловонный осадок. И слабые люди гибнут и губят друг друга. И можно ли их обвинить в том, что они слабы? Ведь все пущено в ход, чтобы разложить, ослабить, отравить!»

И тем не менее, Евфросиния Антоновна воспринимала и воспринимает до сих пор все тяготы и испытания, выпавшие на ее долю, как нечто должное. Мало того, на вопрос: жалеет ли она, что ей пришлось жить в СССР, а не как ее матери — в Румынии или как ее брату — во Франции, она отвечает однозначно — нет, не жалеет. У нее были все возможности в первые месяцы оккупации уехать за границу, но она *русская* (хотя в ней нет ни капли русской крови: по отцу она — полька, по матери — гречанка), и она *должна* была разделить *со своим* народом его участь.

Поразительно, что опыт, приобретенный Евфросинией Антоновной в неволе и после нее, хотя и обогатил ее представление о жизни, но не послужил причиной изменения ее мировоззрения. И здесь удивляешься даже не тому, что она осталась такой же, что и тридцать, и пятьдесят лет назад, а тому, что тогда она думала также, как и сегодня. В условиях коммунистического режима способность мыслить и проявлять принципиальность в поступках многим стоили жизни. С другой стороны, в сегодняшних высказываниях Керсновской — тот же максимализм, та же требовательность к себе и к другим.

В этом легко убедиться, если заглянуть в блокноты с полудневниковыми записями, которые она вела, побеждая свое одиночество. В один из таких блокнотов 1979 г. Евфросиния Антоновна записывала краткие аннотации прочитанных книг. Рядом с названиями произведений — оценки по пятибалльной системе:

«Сергей Сартаков. «Философский камень». 3.

Сюжет охватывает период от 20-го до 38-го года... За это время все крестьянство становится счастливыми колхозниками: стоило только раскулачить и выслать хозяев, как потекли молочные реки в кисельных берегах. Еще более «идейные» — это рабочие: они бескорыстны и мечтают о том, чтобы трудиться. Все обожают Родину. О голоде 33-го года — ни слова: все кушают (бесплатно) наваристые щи с большими ломтями хлеба... О всех безобразиях 35—37-го годов — ни слова!..

Анатолий Жуков. «Дом для внука». 3 – .

...Колхозники — все честные, все трудятся самозабвенно. Главный герой — инженер — добровольно пошел в деревню, хотя все профессора его зовут в Москву, но... он любит землю и жертвует ради постройки свинарника своим семейным счастьем, т. к. жена — художница, и в свинарнике ей работы по специальности нет. Все — на ходулях, ни слова правды...

Юрий Бондарев. «Слепой дождь». 2.

Патока с медом. Рассказ ведется от имени девчонки 17—18 лет. Общежитие — подруги — работа. Идеальный бригадир. Идеальное отношение к труду и друг к другу. Идеальная дружба. Идеальная любовь.

Илья Эренбург. «Падение Парижа». 5 – .

Книгу прочла «запоем». Очень талантливо и со знанием дела написано! Пусть и слегка тенденциозно (иначе и быть не может!), но живо и даже близко к истине, Я-то помню, как все это на самом деле происходило... И так удивительно, что при Сталине его не посадили»...

В оценке прочитанных книг у Евфросинии Антоновны критерий железный: правда или ложь. Она не писала для чужих глаз — только для себя, но сколько здесь (при всей субъективности) точных и остроумных формулировок!

С ложью она боролась всю жизнь. Постоянно лезла на рожон и получала тумаки за это, ругала себя потом, но ничего не могла с собой поделать — снова и снова заступалась за истину, клеймила клеветников, смеялась в глаза бездушным палачам, доказывала неправоту тем, кто вообще потерял способность различать добро и зло.

Когда ее осудила «тройка» на расстрел, она крикнула им в лицо: «Правда — как свет! Никогда луч тьмы не проникает в светлое пространство: поэтому ваша ложь боится правды!..»

Ох, как ее не любили люди с грязной душой, люди, потерявшие совесть, или те, кто руководствовался в своих поступках ложью, звериной похотью и своеволием. Ее кидали в карцеры, пытали голодом и холодом, избивали так, что живого места на ней не оставалось, посылали на самые тяжелые и грязные работы, но душа и совесть ее всегда оставались чистыми.

Вся ее книга пронизана христианским, православным духом. Однако в ней нет почти теоретических рассуждений на темы добра, любви, милосердия и терпимости, то есть того, с чем мы обычно связываем понятие «христианство». В ней есть просто жизнь, но такая, где все эти постулаты проверяются реальными поступками и поведением героев, их каждодневным бытом, их отношением к работе и друг к другу.

Керсновская проповедует *деятельное* христианство. Христос для нее не ЧТО, а КТО. Сила ее проповеди в том и состоит, что она на примере своей жизни показывает, как можно вынужденную рабскую зависимость преображать в свободное служение духа. Потому и жизнь она воспринимает как испытание, потому и не жалеет, что не убежала из России.

Свою почти добровольную ссылку в Сибирь Керсновская назвала в книге «Великим Постригом».

Когда постригают в монахи, человек трижды должен поднять ножницы, которые нарочно роняют на пол. Будущий монах обязан поднимать их сам, чтобы доказать, что он не насильно, а по своему добровольному желанию отрекается от мирской жизни. Вот и Евфросинии Антоновне трижды предлагали избежать высылки, и каждый раз она отказывалась идти против судьбы.

«Великий Постриг» для автора — это метафора. Но жизнь сама претворила этот образ в реальность. Она прожила все свои 80 лет как настоящая монахиня — в безбрачии, в нестяжании и в послушании воли Божией, неся «в миру» эти три монашеских обета.

Почти всегда она с легкостью (эта легкость, разумеется, кажущаяся) и даже иногда с юмором преодолевала любые искушения. И все же было несколько случаев, когда она чуть не поддалась соблазну нарушить тот нравственный закон, по которому она жила.

Первый раз — это когда она решилась было лишить жизни человека. И пусть этот «человек» — садист, негодяй, на совести у которого множество загубленных людских душ: все же убийство для Евфросинии Антоновны — это было бы преступление против собственной свободы, против той системы ценностей, которая ее и делала свободной. Лишившись ее, она становилась рабом своих человеческих слабостей, а именно этот тип рабства — для нее наихудший.

В другой раз, выкрав у следователя пистолет, она решила убить себя...

ИЗ КНИГИ Е.А.КЕРСНОВСКОЙ: «...Что заставило меня глянуть в окно? Не знаю... Просто, как-то механически, уже подымая руку с пистолетом, держа палец на гашетке, я скользнула взглядом, и...

Все как-то сразу изменилось... Будто в темноте, с которой глаза уже хорошо освоились, вдруг вспыхнул свет! Окно было открыто настежь. Решеток в нем не было... Перед окном проходили телеграфные провода и чуть ниже — колебалась ветка тополя, серебристого тополя с еще молодыми, нарядными листочками... Небо голубое, каким оно бывает в начале лета, и по нему плывут белые облака, как паруса, надутые ветром. И — как было всегда и как всегда будет — пара ласточек, чье гнездо, очевидно, было поблизости, занималась своим радостным трудом — суетилась, нося мошек своим птенцам, и лишь изредка усаживалась на провода...

Это и было чудо: красота, настоящая, вечная! И простая.

Было небо. Были облака. Была ветка — зеленая, свежая. Были и ласточки. И все это — будет. Будет!.. А меня?.. не будет?! Нет. Нет. Еще буду!!!»

Этой животворящей энергией пронизана вся книга Керсновской. Эта *радость* от преодоления не только внешних преград, но, самое главное,— внутренних заставляет читателя /зрителя/ пройти весь путь ее жизни не сторонним наблюдателем. Этот оптимизм почти физически заразителен...

Нет, не случайно родители наделили ее именем Евфросиния!

Как я уже выше писал — существует несколько вариантов (редакций) книги Е. А. Керсновской. Один из них — промежуточный — это альбом, составленный только из иллюстраций, снабженных расширенными подписями. Именно этот способ авторского изложения событий и положен в основу настоящего издания. Однако, чтобы читатель имел представление обо всех этапах рождения этой уникальной книги, мы постарались использовать иллюстрации из разных вариантов.



















Самая мирная картина!

Вести хозяйство давно было моей обязанностью, и я всегда была рада и горда, что папа мог спокойно читать в своем саду.
Папа, как английский король, «царствовал, но не управлял», зато он пользовался, благодаря своей безупречной репутации, неограниченным кредитом у местных богачей.
Умер отец в самый разгар осенних полевых работ, но кредиторы, не дождавшись весны, предъявили к оплате векселя...



В Европе разгоралась непонятная, «странная» война. Я внимательно следила за сгущающимися на горизонте тучами, но недостаточно вдумывалась в смысл событий: я почему-то была уверена, что гроза пройдет мимо...
Я работала с каким-то упоением, и результаты уже сказывались. В марте 1940 года я внесла последние деньги за инвентарь: хозяйство было чисто от долгов. И процветало.



— Что будет — увидим. А пока что — пей чай! — сказала я невозмутимо.

В тот вечер, 27 июня, мы с мамой в последний раз безмятежно уселись за стол... И вдруг по радио: «Советский Союз заявил о своих притязаниях на территорию Бессарабии...» Теперь даже трудно себе представить, что сердце, которое, как мы знаем, должно быть «вещуном», ничего не возвестило. Как будто еще совсем недавно в Прибалтийских республиках не произошла катастрофа и как будто мы не могли догадаться, во что это выльется?!



К помощи радио прибегать не пришлось. «Новости» явились сами — в виде советских самолетов. Один приземлился неподалеку от нашего поля.



Черные лужи смазочного масла виднелись на дорожной пыли, и парни, подталкивая друг друга локтями, посмеивались...

Одна машина вышла из строя рядом с нашим домом.
— Что же это вы, ребята? Только что границу перешли и сразу — на ремонт?
— Мы уже три месяца в походе,— буркнул сквозь зубы механик.



На обочине сидел солдат с винтовкой... Вид у него был унылый.

Рядом с опрокинутой машиной лежал труп солдата.
— Как это случилось? — спросила я.
— Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?!
Я удивилась: какие же это горы? Маленький уклон! Но ведь в мире всё — относительно!



— А скажи-ка, где здесь у вас ба-а-арин?
— Барин — это я!
...Душой я тянулась навстречу этим людям: ведь это были свои — русские.



Она ласково и чуть смущенно их угощала, наливая чуть дрожащей рукой холодное, ароматное вино.

Вернувшись в дом, мама сказала:
— Ты обратила внимание, как он произнес «мамаша»? Мне он стал сразу близок, как сын... Ведь и мой мальчик где-то там, на чужой стороне... Даст ли ему там, во Франции, кто-нибудь напиться? «Мамаша»! Они, право же, очень славные ребята, не так ли?



Оглядываюсь. Моих спутников нет... Они далеко позади: спешились и ведут коней на поводу. Вот-те и на!

Я с солдатами отправилась за сеном. Все они были жителями Полтавщины, где, говорят, местность равнинная, и потому наши холмы кажутся им горами.



Завязалась оживленная беседа. Вернее — словесная дуэль. Спорим политрук и я. Ветеринар улегся и уснул. Но — странное дело! Он спит, но время от времени открывает глаза и делает мне какие-то знаки.

Как далека я была от мысли, что можно поплатиться, высказывая свои взгляды. Это в двадцатом-то веке! Никогда бы этому не поверила!



— Фу! Мама, стыдись! Неужели мы должны воровать собственные вещи? Ничего мы не будем делать тайком, как те, у кого совесть нечиста!



После обильного, вкусного обеда, перейдя на террасу, комсомольцы горячо спорят о принципах марксизма, а горничная Ксюнька с ног сбилась, поднося им то то, то иное угощение. Трудно угодить на барчуков-коммунистов!

Дети помещицы Яновской были членами румынского комсомола. Яновская одобряла «передовые» взгляды детей, но своих рабочих и прислугу держала в черном теле.



Я изложила прокурору все свои сомнения, все, что мне казалось неясным, ничего не скрывая и не умалчивая.

— Какие же вы «помещики»? — пожал плечами прокурор. — 46 гектаров земли, крестьянский дом в три комнаты... Это — не помещичье, а кулацкое хозяйство. Не скрою: всего этого вам не оставят, да вы и сами не захотите, так как налоги были бы вам непосильны. Дом и сад — безусловно, ваши: живите, трудитесь... Желаю вам с мамашей полного успеха! Всегда обращайтесь к нам и можете рассчитывать на помощь!

Как далеки мы были от мысли, что этот человек — юрист, представитель закона, символ справедливости — прекрасно знал, что было уже принято решение расправиться с нами, «помещиками»!



Мы вышли из прокуратуры. «Как все это странно! — сказала мама, спускаясь, по ступенькам. — Нам приходится расплачиваться за ошибки, которых мы не совершали... Но рядом с тобой я ничего не боюсь!»...

По дороге домой мы с мамой решили, что на обед сделаем вареники с малиной. Если бы пошли обычным путем — через деревню, то мы бы увидели, как выгоняют из своего дома дядю Борю — младшего брата моего отца.



Я несла из сада решето малины, пританцовывая на ходу, и подсвистывала какой-то пичужке — кажется, овсянке. Это были последние счастливые минуты моей жизни...



— Идем, мама! — и я помогаю ей встать. Боже мой! Что здесь произошло! Бабы завыли, запричитали...

Как мы шли с мамой через сад — не помню. Поняла я всё лишь тогда, когда мы очутились возле папиной могилы. Теперь только я осознала: нас выгнали из нашего же дома...



— Отдайте мои рубашечки! Мои новенькие, красивенькие рубашечки! — отчаянно кричала она, уцепившись за дверь. — На мне старенькая, рваная! — и она задрала свое платьице.

Самая младшая дочь дяди Бори была безутешна. Накануне ей, постоянно донашивающей обноски со старших братьев и сестер, впервые подарили шесть нарядных рубашечек. И вдруг надо уходить из дома без них! Она просто ошалела от горя — кусалась, как звереныш, и вопила истошным голосом...



Он пошатнулся, обхватив голову руками: — Будьте вы прокляты — вы и ваши дети, Иродово племя! Да постигнет вас кара Божия за жестокость вашу!

Перед тем, как дядю Борю выгнали из дома на улицу, его обыскали: отобрали деньги, часы, зажигалку и даже перочинный нож. Разрешили взять только ведро для воды и буханку черного хлеба.



«С вами поступили правильно. Вы — эксплуататор, и все, чем вы владели, вам так же не принадлежит, как и это кресло».

В горсовете я потребовала свою «бедняцкую» долю: косу, вилы, сапу, лопату, садовые ножницы и опрыскиватель — всё, что нужно для сезонной садовой работы.

— Перед вами шахтер, рабочий и колхозник, — говорит один из горсоветовских начальников, — а вот вы — эксплуататор...

Встаю. Подхожу к нему, беру его за руку и переворачиваю ее — ладонью вверх. Пухлая, мягкая рука. Кладу рядом — свою: жесткая ладонь с твердыми четырехгранными мозолями... Кажется, разговор с «помещицей» оборачивается не в пользу «трудового пролетариата»!

везти, на своих „рогатых вкладе" и я соглашалась, то — недаром, как, проехав пол-версты, я не выдерживала „воловьего темпа", выскакивала из „каруцы" и, махнув рукой, шагала дальше, пешком. А тут?

Выбирать и привередничать не приходится! ...

И я смело взяла, выделенных мне волов и пошла их запрягать ....

Передняя — „книжная" — пара — рыжие трёхлетки, „Бусуёк" (Васильёк) и Трандафир (Шиповник) были симпатичные бычки; зато „дышловая" пара — Урыт (Злодей) и Боцолан (Толстомордый) пользовались, как я это, потом узнала, дурной славой. Первое моё, с ними, знакомство, могло оказаться и последним....



„Урыт" взглянул, на меня, злым глазом и, ринувшись, неожиданно, вперёд, поддел меня рогом, под ребро и так грохнул, об землю, что, у меня перехватило дыхание и, в глазах, потемнело. К счастью, я не растерялась и откатилась в сторону, когда он

пытался меня затоптать.

Что поделаешь? Я уже знала, что жизнь — борьба, причём борьба, в которой допускаются (и, даже — поощряются) бесчестные приёмы. Но я приняла решение: в любой борьбе — победить!



Нелегки были первые шаги. К работе с волами я была непривычна. К тому же мне дали тех, с кем никто работать не хотел... А мне выбирать и привередничать не приходилось...

Июль. Страда. Рабочие руки очень нужны! Я предложила свои услуги батрака на ферме Агротехнического училища... «Нет работы, которая могла бы меня испугать,— привыкла я говорить,— пусть она сама меня боится!» Но все же я испытала нечто похожее на страх, когда впервые подошла к плугу с четырьмя волами. Первое мое знакомство с «дышловой» парой могло оказаться последним. Один бык неожиданно поддел меня рогом и так грохнул об землю, что у меня перехватило дыхание и потемнело в глазах.



Приятно сознание хорошо выполненной работы!



«Что ж, Ильяна, разбогатела теперь?»... Она еще ниже опустила голову. Мне стало ее жаль...

В доме дяди Бори продолжался дележ вещей. Желающих поживиться хоть чем-нибудь было немало.



—А! Наконец я дождалась, что вы, паразиты, босиком ходите! Довольно на шее трудящихся ездили!..

Трудно поверить, что эта опустившаяся старуха с бутылкой денатурата лет сорок назад была горничной моей матери!



«...не могу допустить, чтобы мой сын в твоих сапогах щеголял, а ты босиком ходила! За такой грех нас поразит проклятие...» — и она поклонилась земным поклоном со словами: «Jarta ma».

Однако не все злорадствовали, видя, что я хожу босиком.
При разделе нашего с мамой имущества одной женщине достались мои сапоги...
— Прости, если я виновата!



Еще один поцелуй... Не надо слез!
Прощай! Нет — до скорого свидания!

В какой-то момент я приняла твердое решение: отправить маму в Румынию. Я не думала, что мы расстаемся надолго. Очень скоро я буду полноправным, полезным гражданином своей страны! И тогда я выпишу маму к себе, окружу ее любовью и заботой. И она будет счастлива!



Я стояла и смотрела. Еще один раз увидела я ее на следующем подъеме. Мамy различить уже было нельзя. Но я знала, что она смотрит, смотрит... Прощай, моя мужественная старушка! Нет, не прощай, а до свидания, до скорого свидания! Не может быть, чтобы меня не оценили! И все образуется.

БЕЗ МАМЫ

Иногда — особенно лунной ночью, я долго не могла уснуть. И я невольно вспоминала, как мама любила лунные ночи и... кваканье лягушек! И вот тогда, когда я была действительно одна — среди поля, на своей охапке соломы,— я переставала чувствовать свое одиночество: мысленно я разговаривала с мамой и так, за этим разговором, убаюканная лягушками, я засыпала.

Иногда — особенно лунной ночью, я долго не могла уснуть. И я невольно вспоминала, как мама любила лунные ночи и.... кваканье лягушек! И вот тогда, когда я была, действительно одна - среди поля, на своей охапке соломы - я переставала чувствовать своё одиночество: мысленно, я разговаривала с мамой и так, за этим разговором, убаюканная лягушками, я засыпала.



Проезжие удивлялись, глядя на огромные вороха гниющей кукурузы: «У детей наших изо рта вырвали... и свалили сюда, чтобы гнила...»

Новая власть обложила крестьян непомерными налогами. Кукурузу сваливали прямо на мокрую землю, под осенние дожди! Очень скоро она нагрелась: сперва из нее пошел пар, затем — густой зловонный туман заволок всё поле...



Собаки, разжиревшие, ленивые, объелись мясом и только лежали, смотря на очередную жертву. Напуганные непомерными налогами, люди спешили избавиться от скота. Продать? Никто не купит... Даром не возьмет... Значит — резать!



«Мы 23 года боролись, голодали, всякие лишения переносили, чтобы принести трудящимся всего мира свободу... а вы тут жрете колбасы с белым хлебом!» — «Не стоило голодать 23 года... чтобы освободить нас от колбасы и белого хлеба!» — ответила девчонка.



Какая сила погнала меня на кладбище, где я никогда не была? Я бродила от могиле к могиле. На душе было смутно и тревожно...
Так запомнился мне день 24-го декабря — последний мой «день рождения» на родной, бессарабской земле.

Впервые в жизни в эту новогоднюю ночь 1941 года мне некуда было деваться. Настроение было самое подавленное, и я пошла к нашей старой знакомой Эмме Яковлевне...
Что готовит наступающий год? Мне? Всему человечеству? О будущем я не думала. Я вспоминала прошлое.



Старушка Эмма Яковлевна, как всегда стоя, читала Библию.



К вечеру конь был почти готов, и я решила его покрасить... Я была довольна.

Первое января 1941 года. День выборов. Я решила с пользой провести выходной день и сделать «лошадку-качалку» одному трехлетнему мальчику. На избирательный участок пойду тогда, когда схлынет толпа. Но, оказывается, еще до обеда ко мне трижды приходили, поскольку из-за меня не могли начать подсчет голосов. Странно! Выборы ведь свободные, а не принудительные. Могли и без меня обойтись!



Эти «феи» сидели на перилах террасы и привлекали к себе внимание раскрашенными физиономиями, громким смехом и беспардонными шутками, которыми они обменивались с солдатами-пограничниками, чья казарма находилась по соседству.

Одна из трех кандидатов в депутаты была Маруська Яворская — профессиональная проститутка. Про нее в бюллетене было написано: «Беднячка... была в прислугах... бедная швея...»
Очень хорошо помню, как по вторникам эти «ночные феи» приходили на медосмотр к городскому врачу...
Я перечеркнула фамилии всех трех кандидатов.
Когда вскроют урну, комиссия увидит, как я проголосовала: мой бюллетень будет лежать на самом верху!



— Подсчет голосов закончили еще ночью: 3500 — «за» и один «против», — и он многозначительно взглянул на меня.

Начальник НКГБ многозначительно глянул на меня. Я не отвела глаз и, усмехнувшись, сказала: «А лошадка — хоть куда! Не правда ли?» Я и не догадывалась, что играю с огнем. Хотя... Не то важно — какова твоя судьба, а то — как ты ее встретишь!



— Здесь происходит такое, что я ни понять, ни объяснить не могу... Вот теперь с вами... Мне все известно. Мне Иван Бужор все рассказал. Я возмущена! — Чем вы возмущены? И... где вы видели Бужора? — Он у меня, в саду, дорожки кирпичем мостит, мусор убирает... — Как у вас, поденно? Он мне сказал: в учреждение, кучером... Мы с удивлением смотрели друг на друга.

Встретившаяся мне на пути знакомая сообщила, что моего верного напарника, с которым мы кололи дрова по найму, вызвали в НКГБ и сказали, что, если он будет работать со мной, «бывшей помещицей», то его возьмут на заметку, как «идеологического врага», и никогда не примут в профсоюз...



— Дроворуб. А, Дроворуб. — Я сперва даже не подумала, что это относится ко мне.
— Дроворуб! Это вам говорят! — Оборачиваюсь на голос. Милиционер? А черт его знает! Красный околышек...
— В чем дело?
— Идите за мной!
— Это с какой стати? И куда?
— На минутку. Здесь недалеко.

Я взяла себе другого помощника — мальчика из бедной многодетной семьи. Однажды, когда мы пилили дрова, подошел милиционер и вызвал Ванюшку... Этот «урок» я уже знаю наизусть... Меня не только все избегают, но, что еще грустнее, — отныне я сама должна всех избегать, дабы не причинить им вреда.

Пока меня водили в НКГБ и внушали, что я своей работой что-то там «демонстрирую», в это время запугивали моих работодателей. Когда я вернулась, хозяева мне объявили, что сами решили пилить свои дрова.



Из тумана вынырнул грузовик...
и вновь скрылся в тумане. В кузове сидела Ира в своем «подвенечном» пальто.
Она сорвала берет и махала им, пока туман не опустил свой занавес. А что ждало нас в будущем — это было скрыто за еще более непроницаемым занавесом.
К счастью, никому не дано знать будущее...

Все эти месяцы я почти не виделась с Ирой, моим alter ego. Я не хотела навлекать на нее опасность, потому что чувствовала, что я — шпиль без громоотвода.
— Езжай и ты с нами! — уговаривал меня Ирин муж. — Здесь тебе оставаться опасно. Здесь ты — «помещица». Даже когда дрова колешь. Для них: ты — враг! А врагов надо уничтожать...
— Нет, друзья мои! Я не хочу навлекать на вас беду!



Собственно говоря, ничего «страшного» в этих пнях не было: дуб — твердое дерево, но — колкое; весь секрет — тяжелый топор, меткий удар и настойчивость.

В подвале было свалено 12 тонн огромных дубовых пней. Уже несколько лет никто не решался к ним подступиться.
Я могла не гнаться за большим заработком: я приоделась, обзавелась постельным бельем, одеждой и обувью на все сезоны. Был у меня запас муки, круп, постного масла. Можно было уже разнообразить свою работу. Я то бралась выкорчевывать деревья, а то ездила в лес за дровами...



В свободное от работы время я охотно возилась с ребятишками, мастеря им разные игрушки. Дети были в восторге; сама Паша — еще больше: «Фрося, вы все умеете, и все у вас получается! И вы всегда бодрая, даже — радостная! И вы на нас не сердитесь...»

У Эммы Яковлевны квартировала семья младшего лейтенанта Гриши Дроботенко. Его жена — Паша — была добрая простая женщина и любящая мать. Я очень привязалась к их детям — пятилетней Любе и трехлетнему Коте.



Тропинка — все круче. Паша то висит на моей руке, то цепляется за забор, за дерево... По лицу течет пот, она кусает губы, скрипит зубами.

Гриша Дроботенко на пять месяцев уехал в Киев. Паша должна родить в его отсутствие...
Я удивляюсь:
— Одна, среди чужих людей, на чужбине? Отчего бы не поехать на Полтавщину к матери?
— Ах! Тут так хорошо! Разве можно сравнить? Всего вдоволь... Дети так хорошо развиваются!..
...Когда начались схватки, я была рядом.



«Все в порядке, папаша! Поздравляю — сын!» Нет! Уж извините: я тут — ни при чем...



Это была впечатляющая процессия! Паша с двумя прыгающими от восторга ребятишками, а впереди — я с новорожденным на руках. Ну чем я не «папаша»?!

На Страстной неделе Пашу выписали из роддома. Я купила для мальчика «конверт» со всем приданым для новорожденного. Оказалось, что Паша никогда не видела до этого «конверта».



Я решила как следует отметить Пасху. Не столько для себя, сколько для Паши и ее детей. Не успела я в последний раз окинуть критическим взглядом пасхальный стол, как на пороге появились Гриша Дроботенко, трое офицеров и... парторг. Бедняга лейтенант побледнел с перепугу, но, неожиданно для меня, парторг осенил себя широким крестом и сказал:

— Похристосуемся, товарищи, с хозяйкой и — айда за стол!



Церемония была очень торжественная. Я держу на руках маленького Юру; Катя и Люда в парадных костюмчиках старательно целуют крест, поданный им священником. Заодно исповедалась и причастилась старушка Эмма Яковлевна, хотя она и лютеранка.

Вид у лейтенанта Дроботенко был очень смущенный:

— Я вас очень прошу, Евфросиния Антоновна, окрестить моих детей! «По-настоящему»!..

Могла ли я представить себе, что в следующий раз священника в облачении я увижу лишь через двадцать лет!



«...а я бы вам советовал: пользуйтесь случаем, пока перед вами дверь открыта!»
«Эта дверь ведет на задворки!'К тому же — задворки страны, которая ненавидит мою Родину. Эта дверь — не для меня!»

Меня вызвали опять в НКГБ, где заявили, что на мое имя пришел «вызов» из Румынии. Я ехать отказалась... Впоследствии — через много-много лет — выяснилось, что никакого «вызова» никто мне не присылал. Это была просто ловушка!



...и я присела у старой синагоги, на самом краю оврага.
Отсюда открывалась замечательная панорама Нижнего Города, Днестра...
На востоке — далеко-далеко полыхали зарницы, но грома не было слышно. Небо было затянуто тучами. Время от времени на землю с громким шорохом падало несколько крупных капель.

Внизу на площади играло радио — мою любимую музыку, ту, что мы когда-то слушали дома в Цепилове. Волна воспоминаний захлестнула меня, и душа как бы распрямилась и потянулась к жизни, к радости, к счастью... Какая-то непонятная смесь смятения и надежды охватила меня.



С каким увлечением мама «колдовала» возле своего радио!

На меня пахнуло той любовью, спокойствием и взаимным уважением, которое так тесно связывало нашу семью, и мне до боли захотелось человеческой жизни, доверия, любви — всего того, что было!



Мне казалось, что это не я сижу там, на камне, возле синагоги... Что я лежу на ковре у папиных ног; что рядом — Ира, моя любимая сестра; что я любуюсь своей полной воодушевления мамой... и что имею право на счастье!..



— Ах, Фросинька! Бегите, спрячьтесь. Куда-нибудь бегите: может быть, спасетесь...
— Бегут те, кто виноват, а прячутся — трусы! — с некоторой напыщенностью сказала я.

— Ночью забрали очень многих — детей, стариков, больных... Берут в чем попало — раздетых. Злодеев так не хватают! А ведь это — мирные, честные люди... За вами, Фросинька, утром приходили шестеро... Вооруженные!



Уповайте на милость Господню... и на молитвы матери...

...В дверях появилась Эмма Яковлевна:
— Мое благословение будет сопутствовать вам повсюду, куда бы ни завели вас неисповедимые пути Господни! Аминь!



Прощайте, родные дубы,— маяк моей молодости. Вы всегда наполняли мое сердце теплом родного дома, теплом родительской любви! В последний раз я их увидела, когда машина с ревом ползла в гору. Затем они скрылись из виду Прощай, Цепилово! Все мое прошлое — прощай!

В машине нас было несколько человек, но запомнила я лишь трех. Прежде всего — мальчика, лет восьми-девяти. Его родителей забрали еще ночью. Перепуганный ребенок посинел от слез и захлебывался от горя. Две девочки производили не менее жалкое впечатление. Взяли их прямо с выпускного бала. Где родители — они не знали...

ДОРОГА В СИБИРЬ



Дети были изможденные, худые, в лохмотьях... Роженица истекала кровью. В этом кошмарном уголке ада родилась девочка. Роды были — судя по ногтям новорожденной — преждевременные.

Кому нужно было отправлять в ссылку беременную женщину с двенадцатью детьми?!



Я смотрела на такую мирную картину, что разум отказывался верить.

Старый как мир инстинкт, заставляющий зверя, попавшего в ловушку, искать из нее выход, сказал мне — беги! Что же помешало мне? В безумии своем я считала, что хуже быть не может, а, следовательно, — будет лучше! О, доверчивость — родная сестра глупости! Пора было бы усвоить, что понятие «хуже» — это тот алгебраический «n», к которому всегда можно прибавить единицу!



— Наши мужья! Они идут нас встречать! — кричали женщины, теснясь у окон, и с надеждой смотрели на толпы мужчин. Увы! Каждый раз надежда оказывалась обманутой... «Это, наверное, буровые вышки. Тут, должно быть, нефть ищут», — думала я.
Пришло время, и я узнала, что значат эти «вышки», бараки, ограды...
Нет! Тогда я была далека от мысли, что в XX веке возможно рабство! Так почему же сердце сжималось, как от недоброго предчувствия?

Началась сортировка людей...
Чем руководствовались охранники? По какому признаку они разрывали семьи — разлучали матерей с сыновьями, жен с мужьями — я и по сей день не пойму?! О подобном варварстве я когда-то читала у госпожи Бичер Стоу в ее книге «Хижина дяди Тома»...

рез Днестр. В 18-м году он был взорван, а теперь, с грехом пополам, восстановлен.
Поезд шёл тихо-тихо; мост скрипел и вздрагивал, от свай расходились концентрические круги...
Из всех вагонов доносился плач и причитания: так «голосят», обычно, по покойникам. Да и неудивительно: они прощались с родиной, с родной бессарабской землёй...
Последние отблески вечерней зари погасли.
Наступила ночь...



Поезд шел тихо-тихо. Мост скрипел и вздрагивал. От свай расходились круги...
Из всех вагонов доносились плач и причитания: женщины так голосят по покойнику.

это невыносимо-мучительно! В России, по-моему, относятся к этому иначе: в школе принято всей толпой идти в уборную; в бане женщины всех возрастов находятся вместе, голышом; наконец, очень большой процент побывал в тюрьмах, где стыд совсем утрачивается. Даже медосмотры проводятся без учета какой-либо стыдливости! Всё это приучает к полнейшей бесстыдности. Но у нас, в Бессарабии, где увидеть в зеркале собственное отражение считалось бесстыдством, где мать никогда не показывается дочери голышом, а отец — сыну!..



пытка стыдом...

А мне приходилось, на глазах у знакомых, отправляться!... Пусть от стыда не умирают, но трудно передать словами, как это мучительно! Мы отгораживали эту трубу, кто шалью, кто простыней. Постепенно мы, хоть и со слезами стыда, но... привыкли, а эта бедняжка Муза чуть не погибла

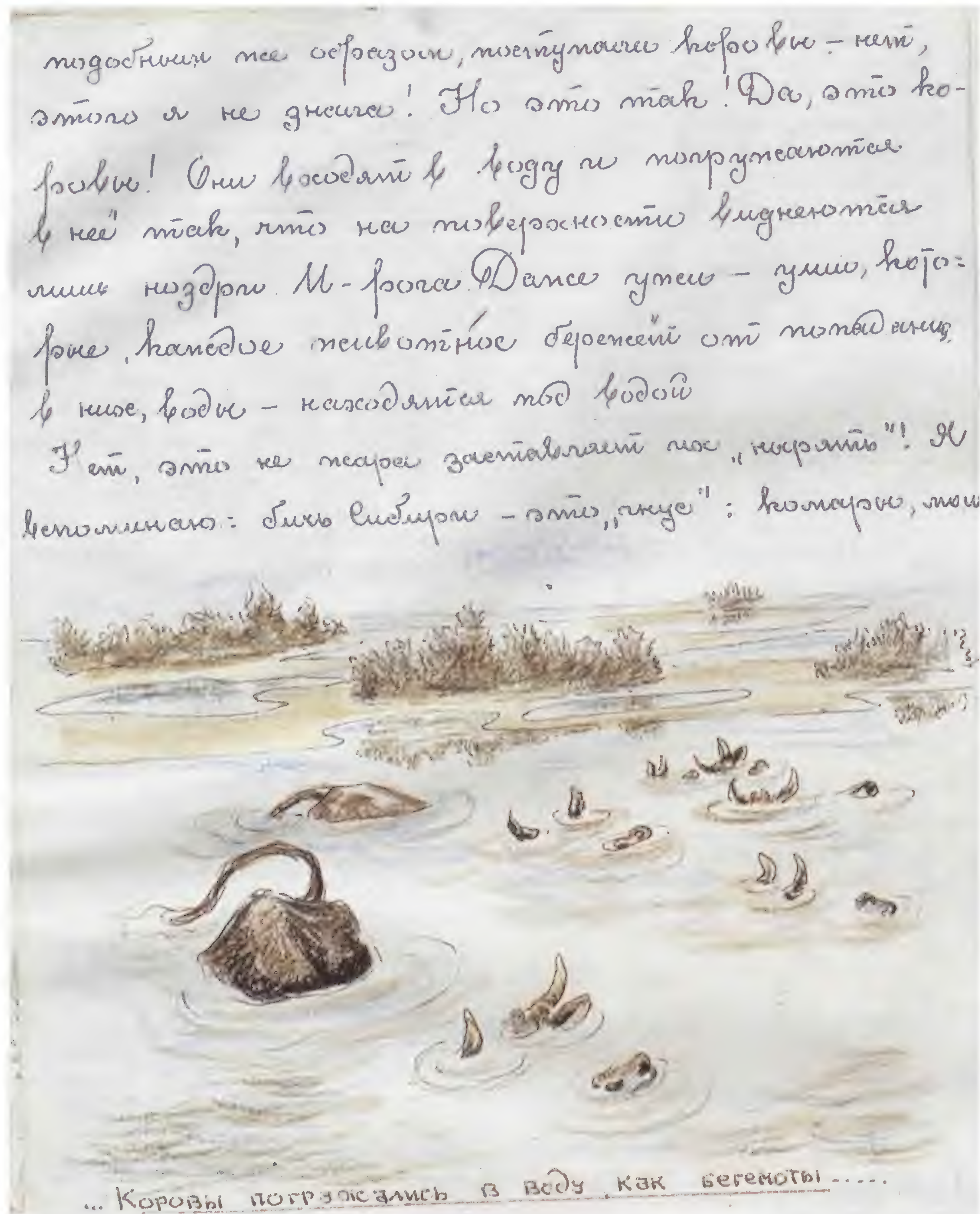
Пытка стыдом...

С нами ехала девочка-старшеклассница. Она была очень хорошенькой — вся сорокская молодежь была от нее без ума... Ей было до того стыдно в присутствии мужчин — особенно ее кавалеров — испражняться в деревянную трубу, что у нее получилось что-то вроде спастического паралича.
О, люди! Те из вас, которые знают, что такое стыд — жгучий, горький, мучительный, — вы поймете, как это невыносимо!





Отчего-то врезалось в память — на голой скале, как на пьедестале, горделиво закинув голову, стоит... козел. И смеется, каналья, тряся бородой. Поезд дугой обходил обелиск, и долго-долго смотрела я на него, будто прощаясь с Европой...


подобным же образом, поступали коровы – нет, этого я не знала! Но это так! Да, это коровы! Они входят в воду и погружаются в неё так, что на поверхности виднеются лишь ноздри. И-рога. Даже уши – уши, которые, каждое животное бережёт от попадания в них воды – находятся под водой.
Нет, это не жара заставляет нас „нырять"! Я вспоминаю: бич Сибири – это „гнус": комары, мош

...коровы погружались в воду, как бегемоты...

На перегоне Уфа—Челябинск конвоиры заметно переменили свое отношение к нам: появилась сугубая враждебность...
Мы не знали, что Германия в эти дни напала на СССР.
Железная крыша вагона раскалилась, как духовка. Двери заперты. Два узких оконца выходят на юг, и кажется, что сквозь них в вагон льется не воздух, а что-то густое, удушающее...
Жара была невыносима даже для конвоиров. Поезд остановился, и солдаты, не обращая внимание на коров, стали резвиться в воде, хохоча и брызгаясь.


человечность и не губить невинного младенца.
– „Это не ваше дело! И не суйтесь со своими советами!"
Кровь ударила мне в лицо. Что-то стало вдруг
– „Ребята!" – крикнула я – „поможем этой женщине и её ребёнку. Василика, Мони, станьте у дверей и, как только я скажу „Gata" (готово) нажмите, что бы она откатилась, а вы, Даницуца, держите меня за ноги, что бы я не выпала, а, когда я крикну „тащи" – тогда и тащи."
Затем, высунувшись из окошка, я обратилась к женщине из соседнего вагона.
– „Gateste caldare: acuș îi dau apă!" (Приготовь ведро: сейчас подам тебе воду).
Вооружившись большим зонтиком – полотняным, с большим крючком, половинкой (самого папы, во Флорештах

Все удалось как нельзя лучше!

Женщина—та, что родила несколько дней назад,— просит солдат дать ей воды для того, чтобы выкупать ребенка и простирнуть пеленки. Никакого внимания. Будто и не слышат.
... Нырнув в окошко, я дотянулась крючком зонтика до щеколды. Дверь, поскрипывая колесиком, поползла ...



Я все же успела поднять ведро воды... пролив половину.

Три прыжка, и я у озера. Расплескивая воду, карабкаюсь вверх по насыпи.
— Почему не стреляете! — кричит начальник эшелона.



В этом «шкафу» было не так уж плохо и, чтобы не скучать, можно было петь. Репертуар был у меня достаточно обширный: его могло хватить надолго. Так впервые познакомилась я с наручниками. И это — за то, что я проявила человеколюбие. Второй раз за то, что я не могла позволить порочить память покойного отца. В третий раз я не смогла снести оскорбление.
Что ж? Все три раза — не зря.


Конец первого этапа пути
Горная Шория
Опять однообразно. Кругом — всё выглядит по-новому. Кончилась степь. Пошли холмы. Затем — крутые сопки. С трудом, пыхтя, тянет в гору паровоз длиннейший эшелон.
Приехали! Мы — в Кузедееве.
Кондома — красивая бурная, горная река.
Рыжие сопки
Тёмный, хвойный лес. Ель, сосна, пихта, берёза. Красивая — вся в водоворотах и порогах — река — Кондома. Говорят, следующая станция — Тельбес — золотые прииски

После Кузбасса поезд повернул на юг. Наконец мы остановились. Вдоль реки Кондомы — вековые сосны и гигантские ели. Как приятно пахнет! Какая красота! Какой простор!
Это было последнее радостное человеческое ощущение, после которого потянулись долгие годы страдания и унижения.

Там кончается железная дорога. Вообще-то линия — до Таштагола, но туда поезда не ходят. Хочется верить, что близко граница. Что? Алтайские горы? Ничего, можно осилить! А дальше? Монголия? Это — что? „Заграница"? Или ещё „наше"? Ничего! За Монголией — Китай. Почему бы не рискнуть?
„Безумию смелых пою я песню."
Увы! Моя песенка будет спета... Но — не здесь. И — не сейчас.

Кузедеево



Всё же это — красивый уголок.
Скажу откровенно: мне здесь понравилось....
В полном смысле слова — „медвежий угол". Больше того — заповедник XVIII, а то, пожалуй, и XVII-го века.
Но тут — колхозы, советская власть ....

Почему-то не могу забыть одного, поистине вещего, сна, который мне приснился в те дни.
— Папа! Как долго я смогу выносить такие мучения?
Он с грустью смотрит на меня и произносит лишь одно слово:
— Восемь.
«Восемь»... Чего? Лет? Дней? Недель?
Впоследствии оказалось — месяцев...

Бенжареп 2-й — заповедник XVII в.

Казалось, что это иллюстрация к древнему сочинению, а не колхоз. Поражало, что жители — лишь старики и младенцы. И клопы... Боже мой! Сколько клопов!!! Даже на лужах был красный налет от клопов. Неужели Сибирь — это клопы, гнус, морозы и голод?



Боже! До чего этот табор выглядел дико . и смешно!

Опять нас повезли: на этот раз — на север... Опять вопли... Опять слезы... Если собрать все слезы, пролитые в Сибири, то, пожалуй, будет понятно, отчего там столько болот и трясин — бездонных, как страдания неповинных людей. Наш нелепый табор, состоящий в основном из горожан-интеллигентов, высадили на берегу таежной реки, в болотах Нарымского края. Сумеет ли кто-либо из них работать? Что ждет их?



Часть пути мы шли пешком — то по песчаным гривам, поросшим сосняком, то по «кыргызовым» болотам. Наш проводник шел уверенно. Меня это путешествие даже забавляло. Лотарь и его храбрая мамаша тоже не падали духом. Остальные же лишь охали и горестно вздыхали.



Так мы прибыли на Ангу — первую «точку», откуда начался мой труд ссыльной... и университет невольничьей жизни. Тут предстояло мне сделать целую серию открытий.



...Я предпочла остаться с проводником и его сыном. У меня был сахар, и я разделила его поровну. Проводник странно посмотрел на меня:

— Слушай, Фрося, что я тебе скажу: береги для себя то, что у тебя есть. Никогда и ничем не делись! Скрывай свои мысли, так как неосторожное слово может быть обращено против тебя. Скрывай боль, скрывай страх — слабых добивают. Радость подозрительна, и ее не прощают. Но прежде всего — скрывай каждый кусочек хлеба. Скоро ты поймешь: наша жизнь — на грани голодной смерти, и тебе придется кружить в заколдованном круге. Чтобы заработать кусок хлеба, надо затратить много сил, а чтобы сохранить силу, надо съесть весь тот хлеб, что ты заработала. Голод будет твоим постоянным спутником. А за спиной — притаится Смерть. От нее не жди пощады: она не прощает слабости, а силу у тебя скоро отнимет Голод. В борьбе со Смертью и Голодом никто, кроме тебя самой, не поможет!



После работы, я, во всю прыть мчалась к речке. Туча гнуса, с жужжанием, преследовала меня, по пятам и нещадно жалила, по= ка я срывала, с себя, одежду. Затем – наступало блаженство = я бросалась, вниз головой, в воду. Холодная вода приносила облегчение и можно было смыть смесь дёгтя, с рыбьим жиром, которым прихо= дилось смазывать лицо и уши. Вылазя из воды – опять тот же гнус, плюс „пауты" – огромные овода, которые жалили „с налёта", да так, что кровь брызгала! Создал же Господь столько нечести!

После работы я во всю прыть мчалась к речке. Туча гнуса с жужжанием преследовала меня по пятам и нещадно жалила, пока я срывала с себя одежду. Затем наступало блаженство: я бросалась вниз головой в воду. Холодная вода приносила облегчение, и можно было смыть смесь дегтя с рыбьим жиром, которой приходилось смазывать лицо и уши. Вылезаю из воды — опять тот же гнус плюс «пауты» — огромные оводы, которые жалили «с налета» да так, что кровь брызгала! Создал же Господь столько нечисти!



День – в лесу; затем, всю ночь, грузили сено на паузок и – снова весь день работали в лесу.... И всё это для того, чтобы сходить, в воскресение, в гости... за 108 клм, в оба конца. Ночь – туда; ночь – обратно... а, с утра, в понедельник – опять на работу, в лесу. И это – будучи, постоянно, голодными! Эх, молодость!

День — в лесу; затем ночь грузили сено на паузок и снова весь день работали в лесу... И все это для того, чтобы сходить в воскресенье в гости... за 108 км в оба конца. Ночь — туда; ночь — обратно... а с утра в понедельник — опять на работу в лесу. И это будучи постоянно голодными. Эх, молодость!

Бессараби 2-е промелькнули — не как деревня, в котор живут — рождаются и умирают — люди, а как театральные декорации — нечто выдуманное. А эта самая Сибирь, когда я её, в первый раз видела, промелькнула, как во

Теперь я на неё посмотрела совсем иными глазами и то, что я увидела, „сжало холодной рукой моё серд

Нет! Не такими ожидала я встретить своих земляков! Повсюду царило уныние, все были деморализованы. Я ещё не имела опыта в оценке людского страдания и поэтому, осудила их слишком строго.



Я привыкла в Бессарабии, к бессарабскому гостепри

Я поняла, что здесь — я лишняя.

Ночью в дороге я была нужна — за свою способность ориентироваться и за острое «ночное» зрение. А теперь — даже кружки кипятку у них для меня не нашлось! Я вышла во двор, улеглась на солнышке, укрывшись от комаров одеялом, и уснула. «Кто спит — обедает», — говорят французы.

вместо „есть“, говорят „исъ“ или „исть“)

Что меня поразило, что это — „та житейская мудрость“, которую уже успел приобрести этот юный гражданин, едва вышедший из эмбрионального состояния.



Голодный ребенок безутешно плакал, но ... не просил есть: он уже понимал.

Прибывшие на трудгужповинность колхозники, привозили, с собой, продукты, полученные в своих колхозах. Ассортимент, может быть и не отличался разнообразием, но... разве можно было сравнить похлёбку с солониной или вяленой рыбой, картошкой и овсяной крупой и

Голодный ребенок безутешно плакал, но... не просил есть: он уже понимал.

Сперва Потапка смотрел с тоской на жующего колхозника, затем, вцепившись в юбку матери, заплакал. Он плакал судорожно, с отчаянием, но не пытался просить хлеба: за свою короткую жизнь он уже понял — «человек человеку — волк», а волки едой не делятся!.. Кто превратил сибиряков, славившихся хлебосольством, в волков?



Лотарь с Минькой предпочли пойти в Черкесово: «У нас есть деньги, и там мы поедим молока и рыбы». Я же решила попытать счастья в Харске — авось удастся купить картошки. Но... 20 верст туда и столько же — обратно. Задолго до рассвета я сунула в рюкзак мешок и бодро зашагала, перепрыгивая через ручьи. Серебрился иней, похрустывала замерзшая трава... Короток осенний день! Надо спешить...
Теперь я только удивляюсь: откуда брались силы и бодрость?



Мутная вода неслась, завихряясь водоворотами... Речка вздувалась, уровень поднимался на глазах. Мостков не было видно. Я брела по колено в воде, стараясь не смотреть на бурлящую реку, чтобы не потерять равновесия.



Последнее усилие .. и я рухнула на пороге барака. Мне и в голову не пришло, что эта картошка — моя. Как можно? Нас четверо, и я разделила эти 50 кг на четыре доли. Мне это казалось совсем нормальным



Мы с Лотарем с увлечением скоблили и мыли замерзшие кишки подохшей от чесотки лошади и предвкушали «пир».



Ох и наелись мы!
— Запомним мы этот день — 11 ноября! — сказал Лотарь.— День, когда мы в первый раз были сыты!
Увы! Не думали мы тогда, что правильней было бы сказать: не в первый, а... в последний раз мы были сыты...



Проломав тонкий лед там, где рыба собиралась, чтобы «дышать», они ее выбрасывали на лед черпаками...



... а я — прямо руками...
... после неосторожности я совершила глупость...

Лед оказался слишком тонким, и не рыба попала ко мне, а я — к рыбам!.. Вместо того чтобы снять сапоги, я попыталась вылить воду, задрав ноги кверху. Вода затекла в брюки и проникла даже дальше... Пришлось поспешить домой.



до чего же это было красиво!

Хвойный лес зимой я никогда не видела, если не считать декораций к «Сусанину». Но до чего жалкий вид был у вереницы плохо одетых, мало приспособленных к такого рода походу бессарабцев!



Так переплавляют лошадей через ненадежно замерзающие трясины Нарымского края. Много опасностей в том краю! Но наиболее коварная — это трясина...



Так сторож доставил в Усть-Тьярм корову... 90 километров, в лодке! Прямиком — туда 25 км, но... болота — зыбуны...

Всё задрожало, когда, с ужасным грохотом и рёвом, семь лесин рухнули, вздымая целые тучи снега.....

„Любопытно: а как реагирует Япония? Ведь велся договора от 35-го года. Япония обязана объявить войну стране, помогающей стране, находящейся в состоянии войны с Германией, независимо от того, кто является агрессором!" Боже мой!... от меня все шарахнулись!

Жена Хохрина говорила:
„...и ещё, для Лидочки, 1 кг манной крупы и ещё, для Лидочки, 1 кг пшена и ещё, для Лидочки..." Тут заведующий Николай Щукин, заметил меня и заорал: „Магазин не работает! Закрой двери!"

Они брели по болотам и увязли вконец. Сперва они вынуждены были побросать свой бедный скарб; затем стали умирать дети, а затем.... Немногим удалось добраться до более обжитых мест, где они и осели: будучи пожизненными ссыльными, вернуться на родину, они не имели права.

Тут я впервые поняла, что голод начинает одерживать верх надо мной: я знала, что 20 минут отдыха для меня полезней, чем безнадёжная попытка отыскать эту крошку хлеба, затерявшуюся в штабели, но... Мысль об этом кусочке хлеба, становилась невыносимой....

...И этими пирогами угробили лошадей.....

„...Не могу больше, Фрося! Пересчитай их ты... К концу дня, во мне все дрожит... Боюсь напутать... Судить будут... Засудят... У меня дочку Сима родила... Так я своё дитё не увижу... 18 километров! Не пускают к ней... Не могу больше" бормотал Афанасьев, схватясь за голову. „До какого состояния полнейшего нервного истощения довёл Хохрин своих невольников!" подумала я.

„Этот „симулянт" - умирает! И умирает по вашей вине. Вы не имели права забирать лампу из барака, где умирает человек. Принесите свою лампу, а мне их - три!"
Этот случай, „саботаж" тоже фигурировал на суде: „она сорвала собрание, унеся лампу из клуба". Что ж? Это, пожалуй, был единственный обоснованный донос из числа тех ... доносов Хохрина на меня.

Жутко было смотреть, как озверелый от голода возчик избивал выбившуюся из сил лошадь

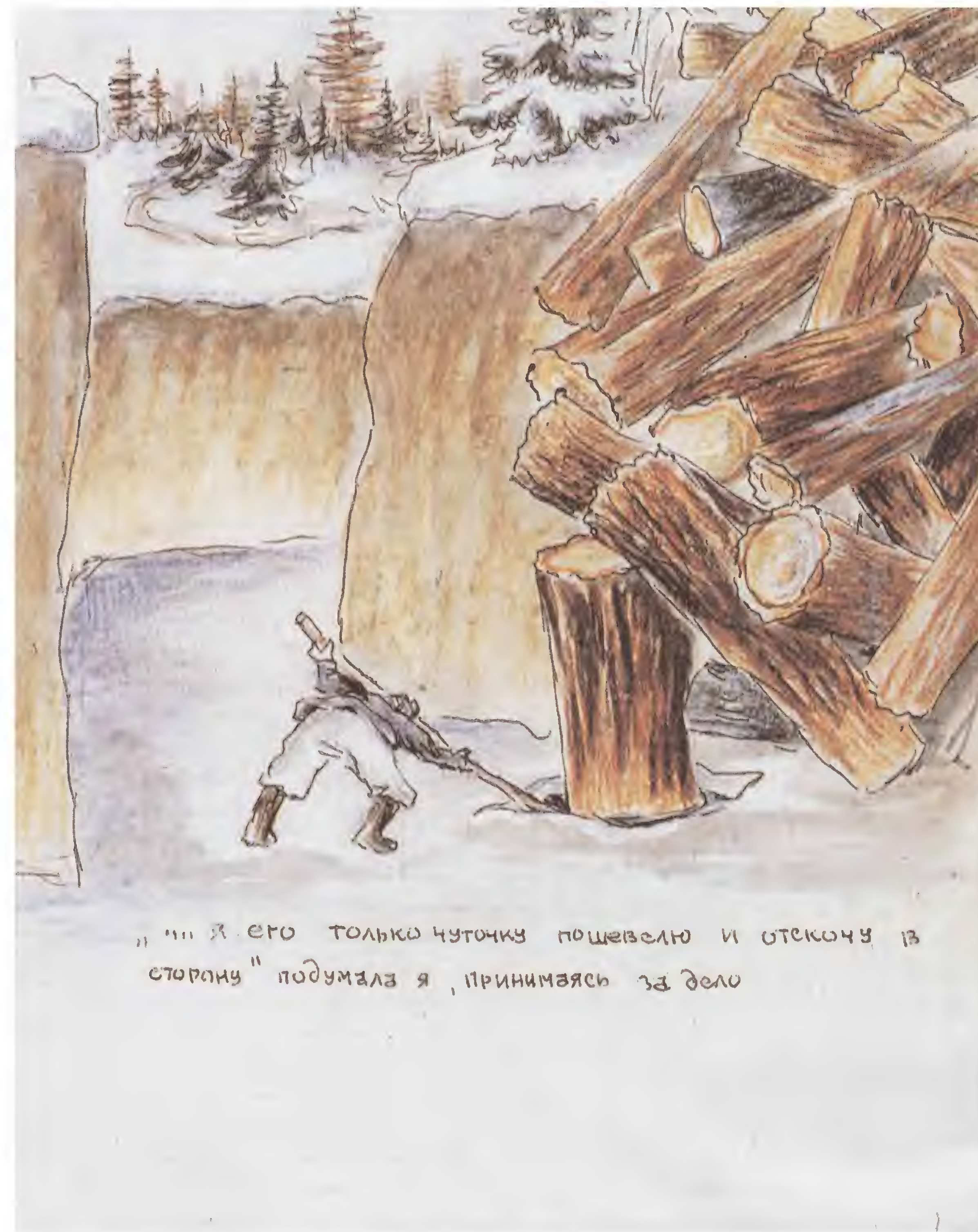
ЛЕСОПОВАЛ

Здесь тротуаров нет!

Здесь тротуаров нет!



Весь день работаешь как проклятый, и... ни одного бревна.



«... я его только чуточку пошевелю и отскочу в сторону»,— подумала я, принимаясь за дело

«На волосок от смерти»... Это выражение множество раз я испытала на своей шкуре. Особенно стало невыносимо, когда к нам начальником прислали Хохрина. Один только слух о его назначении привел к тому, что взрослые мужчины-лесорубы в отчаянии плакали: «Ну теперь мы все погибли!»



Лед, земля и, наверное, небо задрожали, когда все «катище», грохоча и подпрыгивая, ринулось с обрыва вниз.
Я лежала рядом с гигантским «сутунком», по которому «фуговали» все лесины, и, когда последняя из них скатилась на лед, я встала.
Первое, что я заметила,— это старик Кравченко: бледный, как смерть, он стоял вверху и, скинув шапку, часто-часто крестился.
— Ну, Фрося, крепко кто-то за тебя молится... Тебе — ни в огне не сгореть, ни в воде не утонуть: ты — заговоренная...

«Норма», которая до Хохрина была 2,5 м³, сперва повысилась до 6 м³, затем «по военному графику» — 9 м³, а под конец он сам принял за нас «обязательство» вырабатывать по 12 кубометров на человека в день.
...Позади целый день каторжного труда, и — всё напрасно: все хлысты, распиленные на метровые чурбаки, подлежат сожжению. Учитываются только высшие сорта дерева, а всё остальное — в огонь! А если вся делянка — перестоялый, больной лес? Голодная смерть!



— Девочка ты моя милая! Это же не пироги. Это — рукавицы!
— Ах! — На глаза девочки набежали слезы и повисли на ресницах. Она закрыла лицо руками и судорожно всхлипнула. Вся ее фигура олицетворяла такое отчаяние, что... будь у меня один-единственный пирог, я бы его отдала ей.
Что может быть грустней и несправедливей, чем вид голодного ребенка?! За что детей-то мучить в ссылке?



Дверь открывалась, в столовую врывалась озверевшая от голода толпа лесорубов. С размаху они налетали на железный «Камбуз» и, топча упавших, кидались к «раздаточному окошку». Что тут творилось! Было и больно, и стыдно за людей, потерявших облик человеческий...



«графика» или «обязательства» или — «ударна с начала труда, в помощь армии» или ещё что нибудь — например «повышение качества древесины» — т.е. ещё больше списать, оставляя лишь отборную.

Не пойти на собрание — никак нельзя: пока все не соберутся — собрание не начинается, а пока собрания не закроет — столовая не открывается. Выхода нет!

Хохрин — и обведёт всех своими «грозными» глазами. Просто удивительно: до чего мутные были эти глаза! Мутные, как у «снулой рыбы» или у начавшего разлагаться трупа. К тому же — маленькие и неподвижные.

Все молчат... Кто осмелится спорить?!

Нет! Как перед Богом, скажу, положа руку на сердце: ни разу, ни одного единственного раза, я не смолчала!



Очень любил Хохрин проводить собрания. Сгонит, бывало, смертельно усталых, голодных лесорубов в клуб и начинает мучить политинформацией. Как перед Богом скажу: ни разу я не смолчала. Хохрин был — что угодно, только не оратор, и я ему задавала хорошую словесную трепку.



Поперек широкой кровати лежало шестеро детей. Детей? Да можно ли назвать «детьми» этих, воскового цвета опухших старичков?! И рядом сидит, тупо смотря на них, мать... Что может быть ужасней?!



Лесоповал — работа и сама по себе опасная; если же вдобавок работать второпях, через силу... Ничего нет удивительного в том, что несчастные случаи — явление нередкое. Невольно содрогнешься, глядя на девушку, пришпиленную сучком к земле.



Барзах, в прошлом владелец магазина модельной обуви, никак не мог справиться с работой возчика. И больно, и смешно было смотреть на его тщетные попытки водрузить бревно на «подсанок»! И никто не имел права ему помочь... Впрочем, не имел и возможности: все, выбиваясь из сил, торопились справиться со своей нормой... и над каждым висела угроза остаться без «пайки». Царь-Голод! Самый жестокий царь... коммунизма...



Старик Барзах ползал в снегу, целовал его ноги и, ломая руки, умолял не вычеркивать его из списка тех, кто имел право на «пайку», т. е. право за свои деньги купить 800 грамм хлеба в день. У него — двое детей, жена — совсем больная и старуха мать, которой 90 лет. Он плакал и извивался, как раздавленный червяк... Нужно было видеть самодовольное выражение лица Хохрина! Уму непостижимо! В XX веке!!!

Обреченностью пахнуло на меня от этой картины.
К тому же, Хохрин каждый день угрожал лишить пайки отца этого семейства.



Вся семья — в радостном возбуждении. Нюра так и сияет.
— Ах, Фрося! Радость-то какая: с оказией, Вася мой пишет, он женился...
У нее — изба своя, корова, огород.
Понимаешь, своя картошка, молоко!
— Постой-постой! — прервала ее я,— так чему же ты радуешься?
— Как — чему? Да ведь он — сыт.
И мне не надо ему посылку снаряжать — от детей последнее отрывать.
Ведь у меня их шестеро. А получают по 150 грамм хлеба. Легко ли сухарей насушить?
— Ну, а если он — не вернется? — Она на мгновение призадумалась.— Как не вернется? Он, чай, своим детям — отец? Жалеет он их!
Ну... там видно будет. Но он хоть сыт.
И жив будет. Ну и мы — хоть не очень-то сыты, но — не замрем.
Я шла домой в раздумье. Как мать — она права. А как женщина?



Вконец деморализованные «доходяги» толпились в надежде на объедки. «Наглядное пособие»: стахановец и «тунеядцы». Но «стахановец» оттого стахановец, что он сыт. А «тунеядцы», если бы им создать условия обычной рабочей скотины, не скатились бы до столь унизительного состояния...



Собак съели еще вначале, осенью, сразу после того, как их хозяева-охотники получили «собачий паек» (4 кг прогорклой овсянки в месяц), т. ч. можно было найти достаточно костей — вываренных, но... еще съедобных. Эти кости я толкла и ела. Но вскоре костей не стало: их съели неработающие, уже выбившиеся из сил «доходяги» — преимущественно мои земляки, а также дети, старики... Они не работали, времени у них было больше... а мое «открытие» не было запатентовано.



На Валю было страшно смотреть: она рухнула в снег, корчась от боли. В глазах буквально «горел огонь безумья»: у нее был грудной ребенок, и грудная железа воспалилась — «грудница» (мастит) очень мучительная болезнь... а она работала сучкорубом!..
— Дмитрий Алексеевич! Не могу больше...— прохрипела она
— Не можешь? Так умри! — и он пошел дальше.
У меня в глазах потемнело, и рука сама собой сжала ручку топора.



В полдень бригадир отослал меня домой.
«Ступай домой, Фрося! Теперь пока что ты еще держишься на ногах; к вечеру ты свалишься с ног... а я тебя не донесу...»
Смертельно-усталая, голодная, больная, я с трудом брела, и 7 километров, от Ледиги до Суйги, казались бесконечными.



Разумеется, я зашла в контору: нужно было заявить о том, что с работы я ушла. Иначе невыполненная мною «норма» легла бы на плечи Вали Яременко и Миши Скворцова, и без того выбивающихся из последних сил, чтобы подвергнуться «урезыванию» и без того мизерной «пайки»... а то и заработать пирожок со свеклой за «перевыполнение нормы».
— Ступайте назад,— заскрипел безжизненный голос садиста,— и не прекращайте работы, пока не выполните нормы...
Он видел, что я едва на ногах держусь! 4 часа понадобилось, чтобы пройти 7 км... и солнце уже заходило. Вечером я напрасно стояла в очереди за хлебом.
Щукин сказал: «Хохрин велел вас вычеркнуть из списка». Это — сознательное убийство.



«... я понимаю, Фрося, вам плохо, вы... болеете (она чуть было не сказала «умираете»), я могу вам дать порошок, ну два... Но я не могу, не имею права дать вам «больничный», освободить от работы! Распоряжения Дмитрия Алексеевича относительно вас не допускают такой возможности...»



Они подходят, крестятся, кланяются земным поклоном. Я слышу: «Ты умираешь, Фрося, ангельская твоя душа. Ты за правду стояла... Жалела нас и детей наших... Господи! Буди милостив к рабе Твоей, Афросинии!.. Пошли ей легкую кончину... Прости нам, Фрося, грехи наши... Мы не забудем помянуть тебя в молитвах наших...»



Как? Дожидаться «легкой кончины»... и чтобы он, гад, восторжествовал? Что он думает? Что я покорно умру? Или... как Барзах, ноги его целовать буду?! Нет! И, собравшись с силами, я схватила топор и помчалась через весь поселок в контору.

Был вечер. Люди возвращались с работы и торопились в очередь за хлебом, за супом. При виде меня — с непокрытой головой, в расхристанной рубахе, с топором в руке, они сторонились с пути и оглядывались.



Убить такого злодея — доброе дело, но... Чтобы нанести удар из-за спины, надо быть убийцей... Дьявол-покровитель Хохрина надоумил его пересесть затылком к выходу...
Я стояла за спиной. Я не видела его мутных, как у трупа, глаз... Я — не убийца! И нанести удара я не смогла...



Прорубь... В ней кончается власть Хохрина... В ней — конец мучений, конец издевательствам... Всему конец!
Я склонилась над прорубью. Где-то из глубины на меня глянула черная вода, которая, урча и сбиваясь в воронки, текла... как Стикс — река подземного царства.
Непонятный ужас охватил меня.
Я шагнула... через прорубь и, волоча за лямку рюкзак, побежала через реку — подальше от этого жуткого «Стикса», чье ворчанье, казалось, преследовало меня.





















«Боже!» — прошептала я, сложив, как в детстве, для молитвы руки.— Боже! укажи мне, что мне делать? И чтобы ни случилось — да будет воля Твоя...». И будто услышала я слова Кравченко: «... кто-то молится — крепко молится за тебя, Фрося!» Но кто? Кто?!

И я почувствовала, будто ласковая рука провела по моим волосам. Мама! Живая или мертвая, но душа ее — со мной, и молитва ее в критические минуты моей судьбы смягчает ее удары и придает силы, чтобы их перенести...

Над Суйгой, сквозь облака, несся месяц с такой быстротой, что у меня от слабости закружилась голова и я опустила глаза.

И взгляд мой упал на черную прорубь...

Я вскочила на ноги, подхватила рюкзак и повернулась спиной к Суйге. Впереди — тайга. Наверное — смерть. И позади — смерть. Смерть в рабстве. Смерть на воле... Я сделала выбор...



Брести по захламленному руслу таежной речки нелегко, но все же легче, чем продираться по сплошным завалам бурелома. Кроме того, тут встречались участки, где снег был сдут ветром, т.ч. можно было идти по льду или по твердому насту. Вдобавок речки текли к какой-то реке, а в тайге — особенно в морозном тумане — можно было кружить на месте.



Когда усталость валила меня с ног, я зарывалась в снег, где-нибудь под корягой, укутавшись с головой в одеяло, и засыпала, но все время чувствовала, что где-то совсем рядом на страже стоит Смерть... Сама не знаю, какая сила заставляла меня просыпаться. И откуда брались силы, чтобы продолжать путь?
Куда? Зачем? Об этом я тогда как-то не думала совсем...



Я шла через знаменитую «Большую Гарь». Тайга здесь сгорела еще в прошлом веке. Вся эта «Гарь» заболотилась. Почти ничего там не растет. Обгорелые пни производили жуткое впечатление! Надо учесть, что я была больна — в жару. Мало ли что может померещиться?! Обгорелые коряги казались мне фигурами негров, которые шевелятся — борятся или движутся мне навстречу. И еще мне казалось, что кто-то — неизвестный и невидимый — следует за мной и шепчет что-то непонятное...
Я быстро оборачивалась... и, разумеется, никого не обнаруживала. Как долго это продолжалось? Сутки? Двое? Больше или меньше? Не знаю. Но и теперь, вспоминая эту «Большую Гарь», мне не по себе...



Занималась заря, когда я вышла из леса. Впереди — пустое пространство. Что это? Озеро? Река? Нет, не озеро. Это река. И притом — большая: прибрежные кусты и деревья, даже расположенные на несколько метров надо льдом, повалены весенним ледоходом.
Так что это за река? Обь? Енисей? Обе эти реки текут на север. Кусты повалены вправо. Значит, север справа. Я стою на правом берегу. Выйди я к Енисею, берег был бы левый. Значит, это — Обь!
Сколько раз приходилось мне решать подобные «географические задачи»! Как часто жалела я, что плохо знаю географию Сибири!



Весь день брела я в густом, морозном тумане. Уже смеркалось, когда туман рассеялся, и я увидела крутой,берег. На взгорке — несколько домов. Из труб валит дым... У берега несколько еще не замерзших прорубей. Пробив тонкий ледок, я жадно пила холодную воду... Затем — пошла в гору. Откуда и силы взялись? Скорее! К людям, к теплу! Еще немного — совсем немного,— я буду под крышей. Сибиряки — гостеприимны!

У околицы я остановилась: надо приодеться. И я извлекла из рюкзака «приношение» старушек: полосатую юбку, клетчатый платок...



Деревенька — восемь домов... В восемь ворот стучалась я... Из-за восьми частоколов из толстых бревен слышалось: «Проваливай! А не то собак натравлю!» И злобный лай множества цепных псов...

Обессилев, падаю на колоду у последних ворот... Погибнуть в тайге — это понятно... Но умереть на пороге дома, в котором живут люди? Но... люди ли это?!



Ветер швырнул мне в лицо пригоршню снега, рванул из рук одеяло, которое я так и не успела сложить, и завыл несмешливо: «... сибирское гостеприимство!»



«... мы все в свое время пытались бежать из ссылки... безуспешно... Ступай, тетка! Желаем тебе большого успеха...»

Я обалдела от неожиданности... Неловко поклонившись, я, все еще не придя в себя от удивления, направилась к дверям.

Со стен глядели на меня портреты вождей и, должно быть, удивлялись не меньше меня самой...



Рассказывать о прошлом внимательному слушателю — истинное наслаждение! Итак, дед «наслаждался», а я и развесила уши! Дед уверял меня, что в непроходимой тайге находятся раскольничьи скиты, и «пустынники» мне помогут пройти тайгой на Омск, пройдя 800 верст вместо 2400... избегнув встреч с НКВД.
Я абсолютно не знала советской действительности... А верить тому, чему хочется верить,— так хочется! Вот и решила я последовать совету деда!



Дед не во всем ошибался: скит (или, вернее, то, что от скита осталось) я нашла... И тут мне стало ясно: то, чего не могли (или не очень желали) царские урядники, то решила советская власть... и от скита осталась лишь груда толстущих бревен, поваленный частокол да поломанные восьмиконечные кресты на могилах. Все уже успело зарасти ельником. Идти дальше — верная смерть; идти назад? Не выйду: сегодня я догрызла последнюю сушеную картофелину. Осталась одна брюква... и больше ста верст... Попытаться на юг, юго-восток?



На этот раз я уже не смогла встать.
Я сбросила рюкзак, с головы сва-
лилась шапка. Я поползла, ловя
воздух открытым ртом и единственная мысль была: „...хоть бы
месяц еще немного не заходил...“
И вдруг где то — совсем близко — заревела корова.
Никакая небесная симфония не сдвинула бы меня с места! Но ту
я так резво вскочила на ноги, что, если надо мной уже скло-
нялась Смерть, то я, наверное огрела её, затылком по зубам.
Тут мне все стало. ясно: лес поредел, он был вырублен и совсем
близко проходила поскотина, а, за нею — деревня.

На этот раз я уже не смогла встать. Я сбросила рюкзак, с головы свалилась шапка. Я поползла, ловя воздух открытым ртом, и единственная мысль была: «... хоть бы месяц еще немного не заходил...»
И вдруг где-то — совсем близко — заревела корова.
Никакая небесная симфония не сдвинула бы меня с места! Но тут я так резко вскочила на ноги, что если надо мной уже склонилась Смерть, то я, наверное, огрела ее затылком по зубам. Тут мне все стало ясно: лес поредел, он был вырублен, и совсем близко проходила поскотина, а за нею — деревня.



Голод, стужа, усталость ... Нет! Это ещё не все! Есть еще один
бич всех бродяг и, вообще, бездомних, это — вши! Они не дают
возможности отдохнуть. Даже, когда эта возможность бывает.
И вот, когда солнце стало „заявлять свои права“ и, в полдень,
на солнышке начинало подтаивать я повела решительную борь-
бу с этим „бичом“: я выбирала сугроб, у подножия большой сос-
ны, вытаптывала „нишу“ и ... раздевалась до-гола. И тут начинала
„охоту“. В первый день было .. 312 жертв, во второй — 238, в третий — 112.
С этого дня, это стало правилом когда погода это допускала,
я эту „процедуру“ не пропускала.

Голод, стужа, усталость... Нет! Это еще не все! Есть еще один бич всех бродяг и вообще бездомных, это — вши! Они не дают возможности отдохнуть. Даже, когда эта возможность бывает. И вот, когда солнце стало «заявлять свои права» и в полдень на солнышке начинало подтаивать, я повела решительную борьбу с этим бичом: я выбирала сугроб у подножия большой сосны, вытаптывала «нишу» и раздевалась догола. И тут начинала «охоту». В первый день было ...
312 жертв; во второй — 238; в третий — 112.
С этого дня это стало правилом: когда погода это допускала, я эту «процедуру» не пропускала.



Все жилки и поджилки дрожали у меня, но «звериный инстинкт» диктовал мне единственную в данном случае «линию поведения»: я притворилась крепко спящей — еще плотнее замоталась в свое тряпье, дышала глубоко, всхрапывая… и из-под согнутой руки зорко следила за поведением моего компаньона по ночлегу в этой лесной гостинице. А вид у него был… Э! Да что там говорить! Ни один зверь не может выглядеть отвратительней человека, потерявшего человеческий облик… Он выбрался из сена и, стоя на коленях и сжимая в руке дубину, смотрел на меня таким взглядом, какого мне не забыть никогда. Однако после короткого раздумья он встал, подхватил свою котомку и пустился наутек. Я последовала его примеру.

Да, «товарищ по несчастью» — это не обязательно «друг».



Через многочисленные речушки приходилось переправляться по-разному. Самый удачный случай — это надежное дерево, упавшее поперек речки: это можно назвать «естественным мостом».



Но бывало и хуже: это когда берега речки были заболочены и «воздушных мостов» не предвиделось. Тогда приходилось перебираться где в брод, а где и вплавь.



Это — не «Гермес, посланец богов»... хотя даже без крылатых сандалий я развивала неплохую скорость: ведь после ледяной ванны не оденешься, не согревшись! Голодному холод — первый враг... Только на бегу и согреешься... А чем согреешься... **Счастье,** что образовались проталины, **и там** уже солнце «прогревало».



Первый раз, увидав подобную бесхозяйственность, я глазам своим поверить не могла! В дальнейшем я так часто видела еще и не такие примеры безобразнейшего головотяпства.

Боюсь, что и теперь — столько лет спустя — я все еще продолжаю делать подобные открытия, которые теперь уже ничем невозможно ни объяснить, ни оправдать... Тогда я многое объясняла войной... пока не убедилась, что причина еще более глубокая и беспощадная.



Отдыхать лучше днем: и теплее, и безопаснее. Идти же по шоссе — ночью. Только... лишь завижу фары автомашины, я подбирала юбку, перескакивала кювет и пряталась за стволом какой-нибудь ели. Зато по шоссе шагать совсем легко.



Когдато - ещё дома, в Бессарабии - я читала в „Известиях", как много сделала советская власть для „престарелых". Построен даже „городок счастливой старости" - Вороново. И вот я в Воронове... Я понимаю - война, множество эвакуированных, которым отдали 2-этажные корпуса, но... „Персонал" живёт в просторных домах, а старики.... Я содрогнулась смотря как в длинном, низком сарае, с крошечными окошечками, за невысокой перегородкой, на чёрной, прелой соломе сидели и лежали вповалку те, кто когдато были мужчинами и женщинами, а теперь больше всего напоминали больных обезьян

Холод, вонь, сырость и темнота, лишающая их возможности даже искать вшей! Один старик, стоя у загородки, протягивая жестяную кружку, жалобно бубнил: „Водички-бы испить!" Я не нашла ни ведра, ни бочки...

Когда-то — еще дома, в Бессарабии,— я читала в «Известиях», как много сделала советская власть для престарелых. Построен даже «городок счастливой старости» — Вороново. И вот я в Воронове... Я понимаю: война, множество эвакуированных, которым отдали 2-этажные корпуса, но... «Персонал» живет в просторных домах, а старики... Я содрогнулась, смотря как в длинном, низком сарае, с крошечными окошечками, за невысокой перегородкой, на черной прелой соломе, сидели и лежали вповалку те, кто когда-то были мужчинами и женщинами, а теперь больше всего на свете напоминали больных обезьян.

Холод, вонь, сырость и темнота, лишающие их возможности даже искать вшей! Один старик, стоя у загородки, протягивая жестяную кружку, жалобно бубнил: «Водички бы испить!» Я не нашла ни ведра, ни бочки...



Холодные камни, свет луны, падающий сквозь отдушину - всё было ужасно неуютно.... Но самое жуткое - было воспоминание о стариках.

„Данте, в своём „Аду" не додумался....

Холодные камни, свет луны, падающий сквозь отдушину,— все было ужасно неуютно... Но самое жуткое было воспоминание о стариках. Данте в своем «Аду» не додумался...



Мальчик бросил свою вязанку и всплеснул руками: «Мама! Да это наша барышня!..»



Спасибо тебе, Анна Пержовская! Спасибо измученной голодом и холодом, горем и усталостью. Спасибо за то, что ты оказала мне неоценимую услугу, избавившую меня от «казни египетской» — вшей!
Сперва она запарила крутым щелоком все мои вещи, включая телогрейку и одеяло, которые затем «выжарились» в горячей печи. Затем она вымыла и вычесала мою голову, выкупала меня всю в лохани. Затем я сидела на печи — голая, закутанная в «сукман». А сама Анна стирала, сушила, латала весь мой «гардероб». Ловкие руки ее так и мелькали без устали... и не менее неутомимо работал ее язык: она мне успела рассказать о судьбе множества людей из нашего и окрестных сел, очутившихся в Гынгасе.
Не знала я, как пригодятся мне все эти «байки» уже завтра.



У меня были самые благие намерения: отдать на станцию найденный мною на дороге разводной ключ. Ведь завтра, 1-го мая, предстоит начало работ, а с инструментом в Сибири очень трудно! Лучше было бы отправить это «благое намерение» в Ад, где, по утверждению, ими все мостовые вымощены! А в «Пути Ленина» меня сразу же объявили «шпионом», арестовали, чуть не убили и отправили под конвоем в центр — Боборыкино.



... отчеканиваю, глядя ему в глаза:
— Малава, Кожушинского района!
Комендант кивает головой, подтверждая.
Я, будто невзначай, роняю шапку и, наклоняясь, подымаю вместе с шапкой треугольничек письма.

Меня повели на допрос к начальнику НКГБ... Слышу обрывки фраз: «Кого привезли?.. Дезертира?.. Шпиона, говоришь?.. Ну посмотрим!»
Я не умею хитрить и, обычно, как только открываю рот, выдаю себя с головой. Но бывают мгновения, когда в течение одной секунды принимаешь решение, до которого за целые сутки размышлений не додумался бы.
На множество вопросов я отвечаю, не задумываясь. И вдруг: «Малава... Это в каком районе?»
Я растерялась. Но что это? Под ногами у меня валяется какой-то конверт с адресом. Прочитав его, я попала в точку!
Если бы рухнул потолок, то и тогда бы я не была более ошарашена, чем от слов начальника:
— А теперь — можете идти!



До угла я дошла спокойно, а затем... как рванула, подхватив юбку, и так мчалась — голодная и усталая — из последних сил. Проскочила, не замедляя аллюра, Малаву и продолжала так почти до заката солнца... и мне все время казалось, что меня догоняет Белый Конь, запряженный в бричку, — тот Белый Конь, который привез начальника НКВД, того самого, который «на семь пядей сквозь землю видит» и остался в дураках.



Окончательно обессилев, я остановилась. Спустившись к речке, я напилась воды... и голод еще беспощадней напомнил о себе. Но что это? Гриб... Гриб-дождевик, прошлогодний, или, верней, то, что от него осталось: кожура и немного бурой кашицы. Но... голод — не тетка. И я эту «реликвию» съела. Идти дальше — уже не было сил, и я осмотрелась, ища место, где можно было поспать. И тут меня поразило сходство... с бессарабским ландшафтом: пологие холмы, редкие перелески, луг, речка... Тайга — где-то у горизонта — могла сойти за наш дубовый лес. Совсем Куболта — речка, куда мы ездили с отцом и дедушкой Костатием пострелять перелетную дичь или дроф.



Как я любила ездить с папой на охоту. Охота... И здесь, в Сибири, кто-то охотится: то тут, то там слышны были выстрелы. Стой! Здесь где-то есть дичь... А я так голодна! Что если найду? Тут я еще раз — еще более пристально и внимательно оглядела кустарник, сухой тростник... Вдруг... Чик-чик-чик, зацокотала сорока, вспорхнув на куст.



Чик-чик-чик! Застрекотала сорока. Отчего она всполошилась, но... не улетает? Ага, вот перышко: оно прилетело по ветру. Так! Значит, оно прилетело оттуда... Вот еще два пера... Ура! Вот лежит селезень. Его уже начала клевать сорока. Но — дудки! Селезень мой!

Инстинкт — тот самый «зов предков» — помог мне безошибочно... Не знаю: как поедали мои отдаленные предки свою добычу? Но я... съела его сырьем. И к тому же — с костями и с перьями. Только маховые перья и клюв я не осилила; остальное — все!



Я понимала, что лучше было уйти подальше от опасной для ме-
ня комендатуры в Малаве, но... усталость и „обед" из сырого се-
лезня вынудили меня прилечь вздремнуть и я проснулась уже
вечером. А тут еще погода испортилась: с юга подул тёплый
ветерок и пошел дождь.
Невесело, бездомному, ночной порой, в лесу – да ещё в
дождь! Но в степи... куда хуже. Темно было ужасно. И я
сбилась с пути.

Я понимала, что лучше было уйти подальше от опасной для меня комендатуры в Малаве, но... усталость и «обед» из сырого селезня вынудили меня прилечь вздремнуть, и я проснулась уже вечером. А тут еще погода испортилась: с юга подул теплый ветерок, и пошел дождь.
Невесело бездомному ночной порой в лесу — да еще в дождь! Но в степи... куда хуже. Темно было ужасно.
И я сбилась с пути.



... по полю скакал.... Не знаю, кто это? Больше всего этот всад-
ник походил на ...опричника! Только к седлу была приторочена не
собачья голова и не метла, а связка котомок. В чём дело? Чем про-
винились эти истощённые дети и старухи, собиравшие „колоски"?
В деревне мне объяснили: „На „трудодень" - ничего не дают. А со-
бирая „колоски", могут и 10 килограмм насбирать!.." – „Так колоски,
все равно пропадут!" – „Пропадут. Но если позволить собирать колос-
ки, то кто на работу пойдёт? А может быть, нарочно будут оставлять ко-
лоски."

...по полю скакал... Не знаю, кто это? Больше всего этот всадник походил на... опричника! Только к седлу были приторочены не собачья голова и не метла, а связка котомок. В чем дело? Чем провинились эти истощенные дети и старухи, собиравшие колоски? В деревне мне объяснили: «На трудодень ничего не дают. А собирая колоски, могут и 10 килограмм насбирать...» — «Так колоски все равно пропадут!» — «Пропадут. Но если позволить собирать колоски, то кто на работу пойдет? А может быть, нарочно будут оставлять колоски.»



Тощий, косматый, вывалянный в навозе скот... и скошенный и оставшийся в поле хлеб... Несчастные коровы съели всю гнилую солому с крыш... и полегший, неубранный хлеб. Люди, поедающие «дранки» из картофельной гнили... и тут же, рядом, «опричник»-верховой, здоровый мужчина хлещет нагайкой детей и старух, собирающих колоски, и отбирает у них то, что они подобрали в грязи... Удивляться ли бесхозяйственности? Возмущаться при виде подобной жестокости? Не знаю, не знаю... По нынешний день не знаю...



Вот цепочкой дети рассыпались вдоль неубранного пшеничного поля, учитель что-то объясняет... Вот они садятся на корточки... То тут, то там кружится дымок. Вот вспыхнуло неяркое в солнечном свете пламя... Наконец я понимаю: эти истощенные, измученные голодом дети сжигают хлеб...



Я стояла, как жена Лотова, обращенная в соляной стопп... Много объяснений выслушала я; оправдания — не нашла... Говорили: перезимовавшая в поле пшеница вредна. Да... если ее не отмыть от плесени и не просушить. Говорили: надо освободить место для ярового посева. Надо! Но начать вспашку можно со сжатых полей, а эту пшеницу отдать людям и использовать на корм. Чаще всего говорили: только голод заставляет людей работать. Это не только глупо, но и преступно. К сожалению, это было объявлено аксиомой!



Под дождем стоял и плакал работяга лет восьми: у него не хватало силенок, чтобы поднять и очистить борону. Я помогла ему и сказала: «Ступай домой: промокшая шлея натрет коням холку!» Он хлюпнул носом и жалобно сказал: «Нельзя! Ись не дадут... бригадир так велел...»
Опять все тот-же Царь-Голод!



Корова — дойная. Она явно не приспособлена к тому, чтобы заменить тракторы, оставшиеся без горючего; женщина, ломающая руки в отчаянии при мысли о том, что пропадет молоко, которым можно «забелить» крапиву и лебеду — единственное питание тех, кто должен был прокормить армию; девчонка, лет 10—11, подоткнувши юбчонку, храбро пытается удержать в борозде плуг... Да! Досталось «Русским женщинам» в те годы.
И это — в глубоком тылу! В тысячах верст от фронта!
О! Русь! «Ты — и убогая, ты — и обильная...»
Но больше всего —... нелепая!



Счастье, что у Акима Бедрача где-то на чердаке оказалась соха... Вся семья Акима впряглась в нее, и таким «фараоновским» способом огород был вспахан.



Евреям в пустыне Бог послал «манну небесную»; мне — рыбу... Впрочем, обязанности Бога взяли на себя... чайки. Чаек в тех краях много; рыбы — еще больше. Случалось, что птица роняла рыбу в сухие, прошлогодние тростники, где я ее находила. Иногда — свежую; иногда — с душком; чаще всего — провяленную. Довольно противно, но съедобно: голод — не тетка!



И опять — в который раз — удивила меня нелепость того, что я видела! То, что приняла за церковь, оказалось .. маслозаводом.





Изба была будто больна проказой, и от нее все отшатнулись. Казалось, что она — некогда богатая и красивая — заживо распадается. Жили в ней... недобитые единоличники. Вернее, то, что осталось от большой, крепкой и счастливой семьи. Отца «взяли» без следа. Так же бесследно исчезали сыновья, достигшие 18 лет. Уехать им запрещено. В колхоз не то что принять, а просто поработать не брали. Даже только «за похлебку и 200 грамм хлеба, за 12—14 часов работы». Зато они были обязаны обработать одну десятину... за 20 верст, окруженную выпасом. Копали лопатой. Затем скот все вытаптывал. А «сдать» они обязаны... 60 пудов! Это — медленное удушение. Сегодня они пытались пойти на работу. Отказали! И это — несмотря на нехватку рабочих рук.



Я сидела на корнях дуплистой ветлы и любовалась пейзажем, будто сошедшем с картин Поленова, Серова, Васильева. Мой добрый гений не подсказывал мне, что здесь меня ждет горькое разочарование.



Я растерянно переводила взгляд с рюкзака на мое одеяло. Старуха усмехнулась: «Я покупаю это одеяло. Я сошью себе пальто».— «Но я его не продаю!» — «Я тебе положила в сумку килограмм масла — хорошая цена за краденое одеяло».— «Краденое?» — «Ах так? Машка! — продолжала она в соседнюю горницу, где кто-то шевелился.— Поторопи оперативника! Скажи, что дезертир, которого я задержала с крадеными вещами, безобразничает!»
Это был обычный «трюк». Но я была так наивна! Прощай, одеяло...







Неволя

Хлопнула дверь. Скрипнул засов. Бесконечно долго звенят ключи. Какой отвратительный, противный, лязгающий звук! Отчего у моих ключей — тех, которыми я отпирала амбар или конюшню — там, в Цепилове, звук был мелодичный?

Ах! Это было когда-то....

А теперь?

Я опустилась на каменный пол, обхватила руками колени и зажмурила глаза. Не видеть решётки. Не видеть параши. Не видеть....

Нет! Я вижу! Вижу, что [illegible]. И знаю, что я — сама виновата...

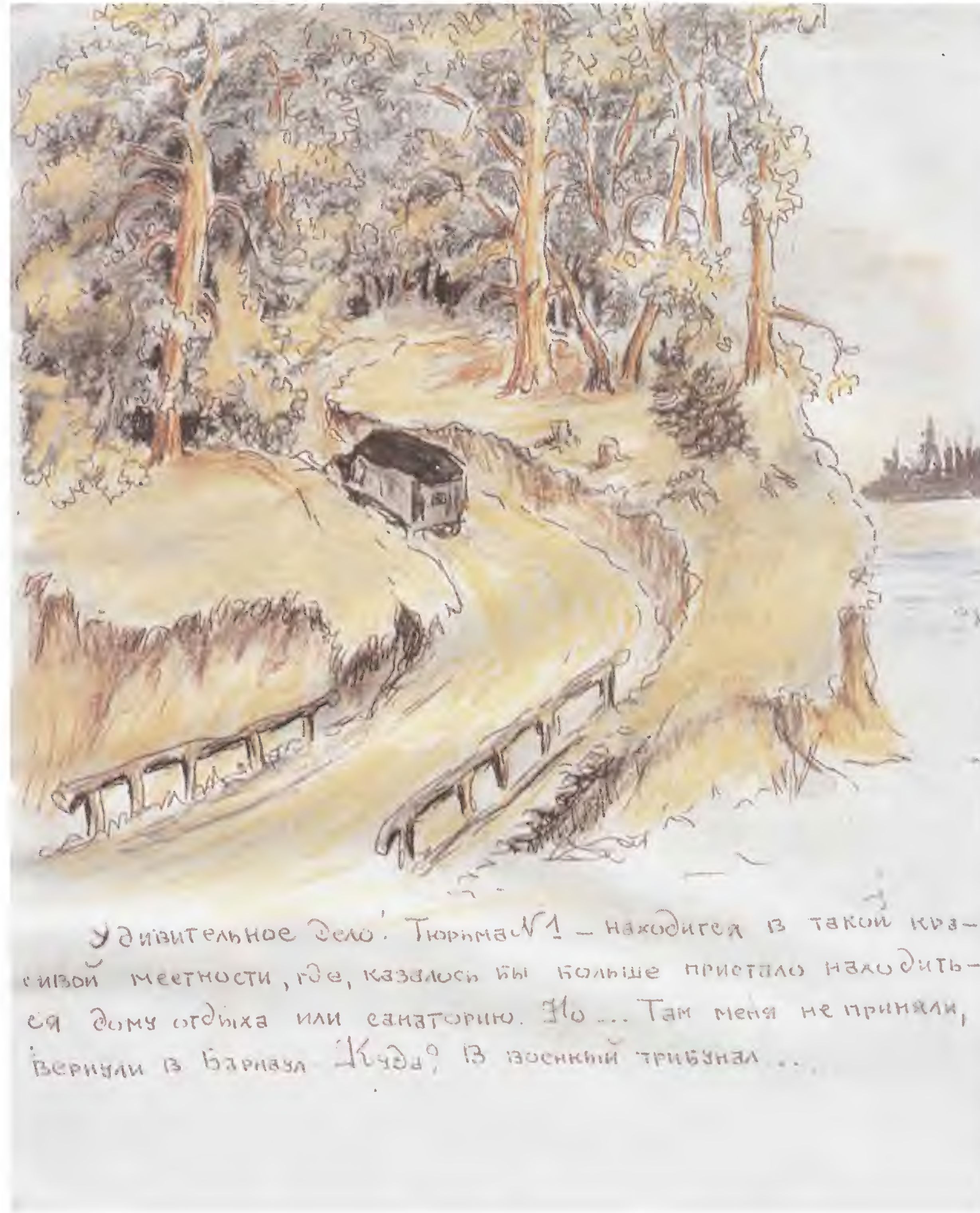
Разве можно было быть такой доверчивой, такой глупой? Говорят, в театре роль дурака может играть только умный артист.

Я зажмурила глаза. Не видеть решётки, не видеть параши

Я — не глупа. Так отчего же я не притворилась дурой? С дураков — меньше спрос....

Я зажмурила глаза. Не видеть решетки. Не видеть параши.

Я оказалась слишком доверчивой: никак не могу научиться видеть в тех, с кем меня сводит судьба, врагов... К тому же — как я позже узнала — где-то в степи был обнаружен парашют. Более неподходящего «десантника-парашютиста», чем я, трудно было бы и выдумать! Но... неисповедимы пути Твои, Господи, и еще менее понятны те дебри, в которых блуждают мысли наших властей.



Удивительное дело! Тюрьма № 1 находится в такой красивой местности, где, казалось бы, больше пристало находиться дому отдыха или санаторию. Но... Там меня не приняли, вернули в Барнаул. Куда? В военный трибунал.

— Нам нужна ваша помощь,— начал следователь заискивающим тоном.— Вы, наверное, знакомы с иностранными языками?
— Я в совершенстве владею французским языком, хорошо — румынским и немецким, знакома с английским и испанским, а также немного — с итальянским...
— Ах, как хорошо! — Он так и расплылся в улыбке.— Мы перехватили телеграмму, в которой ничего не поймем.
Я очень старательно сделала подстрочный перевод, после чего мне было предъявлено обвинение в шпионаже !!!
Я узнала, что была заброшена сюда из Румынии через Турцию...



Я думала, что в этой «внутренней тюрьме содержат действительно опасных политических преступников, но первые, кого я там увидела, были три старухи. Двое из них — монашки. Одна сидит за то, что делала стеганые одеяла, вторая — за то, что завела козу. Третья — колхозница, отправившая на войну четырех сыновей,— села за то, что смела заявить, что еще в первую мировую войну, как солдатка, имела льготы. Вот уже восемь месяцев следователи допытываются, кто ее научил агитировать «против Сталина» и «за Николая II».



«Прогулка». Это 10 минут воздуха. Солнца. Голубого неба. Это так мало! И... так дорого... Гейнц ходить не могла, но смотреть на ее тоскующие глаза и не понять ее мольбы я не могла. Поэтому я, подхватив ее, как ребенка, на руки, вынесла ее из подземелья. Так и повелось: каждый день я ее выносила и клала под стеночку — на единственное местечко, куда добиралась через десятиаршинную кирпичную стену прогулочного дворика. Возле часового висели часы... тщательно прикрытые дверью будки.



Странное впечатление производят эти фантастические фигурки, кружащиеся по дну каменного колодца. И это называется «прогулкой»! И эту «прогулку» ждут с нетерпением целые сутки. Десять минут! Можно увидеть небо, хотя вверх смотреть было запрещено под страхом лишения права на прогулку. Вниз смотри!

Одна молодая женщина, выходившая с нами на прогулку, села за то, что не донесла на человека, сложившего из 15 спичек сначала «роковую» цифру «666», затем слово «ЗМЕЙ» и, наконец, «ЛЕНИН». Мне, с моей «европейской ограниченностью», казалось, что привлечь к ответственности можно только за содеянное. С трудом до меня начало доходить, что здесь, в этой стране, преступлением считается и сказанное. Но чтобы можно было угодить в тюрьму за услышанное — нет! Это превосходит всё, что мог придумать в горячечном бреду сумасшедший!

"Как, мол, с работы, самохотно, ушла"! Я - не от работ
а от смерти уходила.... Но кому докажешь? За это, по
„Указу" - 8 лет полагается! Вот! По Указу, значит, задержаться
а там - другое обвинение предъявили: я, мол, у немцев
на службе, состою - завербовали, десанты, тогда, оставили
Посылали, мол, для „подрывной деятельности". В этом я и
должна, теперь, признать себя виновной...."

Вера грустно понурилась, запустив костлявые паль
цы в пышные, хрупкие волосёнки. Когда она подняла го
ву и улыбнулась своей улыбкой скелета, в каждой ру
была горсть выкрошившихся волосёнок.

Жутко было смотреть на этих, истощённых, до пре
ла, детей! Война отняла, у них, детство; блокада - ли
ла родных; лишения - сгубили здоровье и молодость. Так
что же „правосудие" может, у них, отобрать что такое
что осталось - жизнь?!



Разве это преступление — покинуть блокадный Ленинград и с опасностью для себя воспользоваться «Дорогой жизни»! От этих 16—17-летних девочек требовалось, чтобы они признали себя виновными в «измене Родине».



„Ночной шмон" - самая унизительная и часто повторяющаяся про-
цедура. „Вставай! Раздеться до-гола! Руки вверх! Выходи в корри-
дор! Стройся у стены"! Голые - мы особенно страшны. „Среди слепых,
одноглазый - царь" и я, рядом с ними - ещё герой. Пока.... Волосы
расплетены. Чего они ищут? Что ещё можно, у нас, отобрать? Од-
нако - можно: выдёргивают все завязки из юбок монашек и
из наших трусов.

Ночной «шмон» — самая унизительная и часто повторяющаяся процедура. «Вставай! Раздеться догола! Руки вверх! Выходи в коридор! Стройся у стены». Голые мы особенно страшны. «Среди слепых одноглазый — царь», и я рядом с ними — еще герой. Пока... Волосы расплетены. Чего они ищут? Что еще можно у нас отобрать? Однако можно: выдергивают все завязки из юбок монашек и из наших трусов.



Меня это развлекало: автоматически загорается красный свет, и решетка отворяется сама собой; затем вспыхивает синий, и решетка захлопывается. Ничего не скажешь: «техника» — на высоком уровне... и это тогда, когда кругом такая разруха!.. Перед мысленным взором вставали и беспомощные тракторы, лишенные топлива, корова в плуге, плачущий мальчик с боронами, соха, влекомая людьми... Даже старики на соломе. И все это я обрушивала на голову следователя. Полагаю, что к подобным «подследственным» он не привык...



Это вроде бы и не допрос, а дружественный разговор.

В моем сознании еще не умещается мысль, что можно получать премию за «доказанную» виновность (это когда подписывают признание), что можно перевыполнить план по количеству осужденных!.. Всё в кабинете следователя Титова направлено на то, чтобы усыпить мою бдительность, вызвать доверие и поселить надежду на спасение. Мне и притворяться не приходилось: я ничего не скрывала и ни о чем не умалчивала. А затем... мне предложили подписать всё ту же галиматью о том, что я — заброшенный врагами диверсант.



Лыхин применил иную тактику: всю ночь — от отбоя до подъема — стой навытяжку, не шевелясь. Рядом — стул. Но садиться нельзя.
А днем в камере нельзя спать — даже сидя.
Так каждую ночь я стояла, превозмогая боль в спине и плечах, стараясь не замечать, как ноги наливаются расплавленным свинцом. Голод острыми когтями разрывал внутренности, в глазах «плыло» от слабости. И когда казалось, что я проваливаюсь в колодец, где нет воздуха, то единственным, что помогало мне выдержать пытку, это были стихи А.К.Толстого. Смешно? Может быть... Но это так...



... и, как загипнотизированный кролик, тянулась я к удаву.

...Была ли это сила гипноза или попросту я была слишком измучена, чтобы бороться? Мне не за что было ухватиться, не на что опереться. Я стою на краю пропасти. Шагни вперед! Один шаг... И всего этого не будет. Ни тюрьмы, ни страданий!.. Но в комнате было что-то, что удерживало меня: из репродуктора лились приглушенные, но до чего знакомые, родные звуки. Те же фрагменты моих любимых произведений: вот «Песнь Сольвейг» Грига, вот отрывки из «Лебединого озера» и «Щелкунчика»... Я их когда-то слышала в той же последовательности! Но, Боже мой, когда? Где? Громкий, торжественный звон литавров из «Итальянского каприччио» Чайковского заставил меня вздрогнуть, и будто яркий свет осветил знакомую картину...

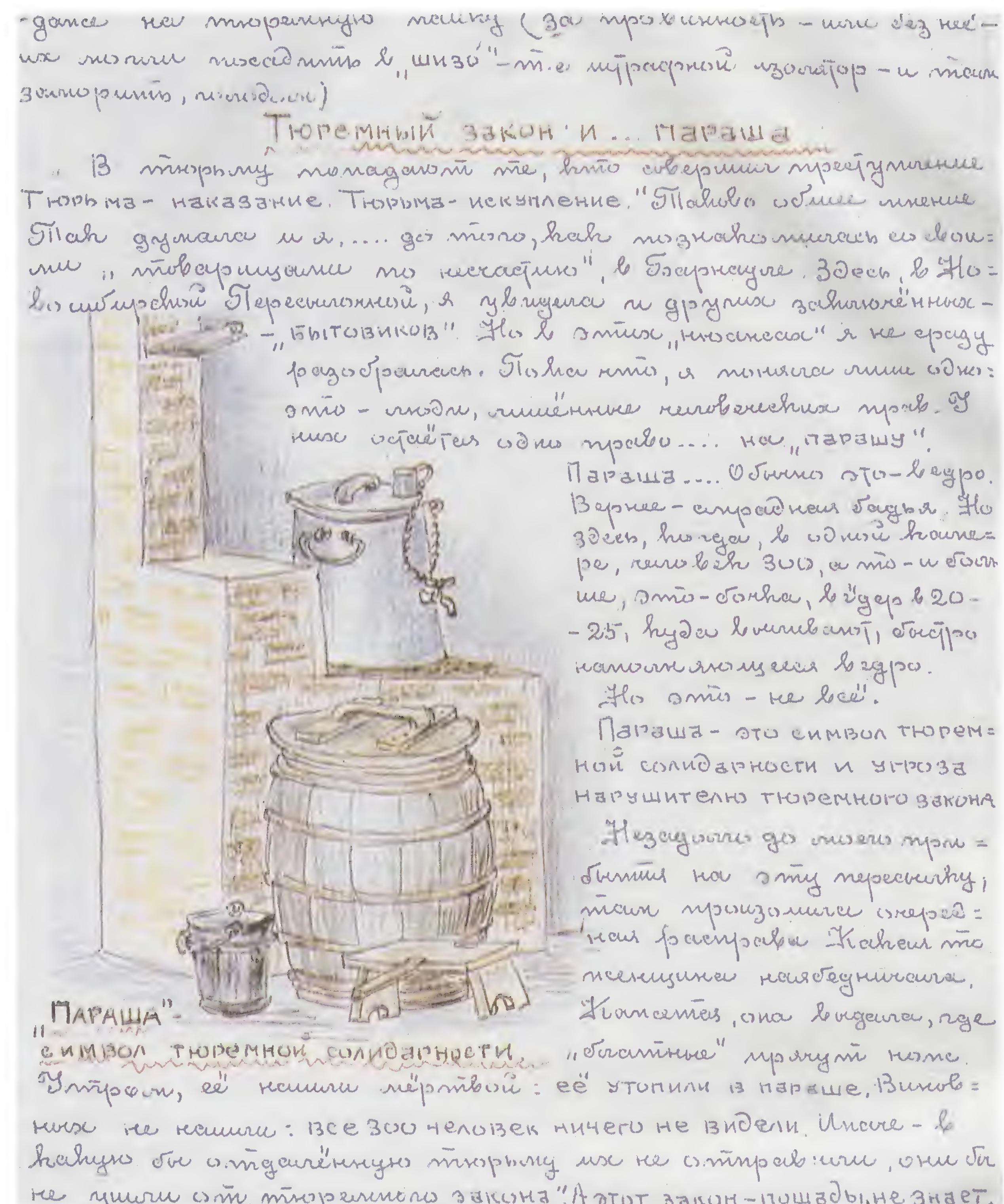




Как это получилось, что в самый критический момент эта чуть слышная музыка вдруг развеяла силу гипноза и вернула мне ту «волю к жизни», которая — одна — может привести к победе — всем чертям назло! Спокойствие и уверенность вернулись ко мне, и я твердо сказала:
«Вы правы: такая жизнь — не настолько уж привлекательна, чтобы стоило бояться смерти. Может быть, это — лучший выход из положения. Но перед лицом смерти лгать я не собираюсь. Я могу не одобрять вашей системы; могу возмущаться несправедливостями, ею порожденными . Но я — русская и причинить вред моей Родине для меня так же невозможно, как поднять руку на родную мать. Все, что я говорю,— правда. И ничего иного вы от меня не услышите».
И все это потому, что музыка из репродуктора в кабинете следователя во внутренней тюрьме в Барнауле воскресила в памяти тот вечер, когда я слушала эту же музыку в кругу родной семьи — там, в далеком Цепилове.



Малолетки-колхозницы с испугом... и завистью слушали разглагольствования своей старшей, более опытной подруги...



Параша — символ тюремной солидарности.

Из Барнаула в Новосибирск везли меня в «столыпинском» вагоне с десятком «малолеток» — колхозных девушек. Все они были повинны в мелких кражах. Среди них одна — лет пятнадцати — была уже рецедивистка.
— Мне бы в Польшу! Я бы в поездах воровала драгоценности: золото, бриллианты, меха... Вот это — жизнь!

В тюрьме у заключенных остается единственное право — право на парашу.
Но тот, кто нарушает законы преступного мира, рискует «взглянуть на дно параши».



Это уродство — порождение клоаки или исправительно-трудовых лагерей...

Если я не совсем понимала «пантомиму» этих парочек, то их разговоры, наполненные сквернословием и цинизмом, приводили меня в ужас! Откуда, Боже мой, откуда берутся эти развращенные, испорченные до мозга костей дети? Христос говорил: «Истинно говорю вам... кто соблазнит одного из малых сих... тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Впрочем, в советских условиях потребовалось бы слишком много жернов.



Вроде — олень, окруженный волками. Только у оленя есть рога, и он может умереть, сражаясь... а не головой в параше...
Тут я сообразила, что малолетки «курочат» котомки новоприбывших этапниц, я ринулась туда и вмиг расшвыряла их во все стороны. Три сотни голов повернулись в мою сторону. «Я ничего не видела»,— послышалось со всех сторон, и... все стихло. Это значило — разрешение расправиться со мной. Целая орава малолеток двинулась на меня. Что и говорить! Положение — не блестящее!

Сквозь дремоту я сообразила, что малолетки «курочат» нищенские котомки новоприбывших этапниц. Сон как рукой сняло! Я вмиг расшвыряла их во все стороны... Целая орава мололеток двинулась на меня.



...несчастные женщины допытывались, можно ли пр этой реке, по Оби, добраться до Азербайджана?

В трюме парохода «Ворошилов» я увидела трех древних старух, восемь женщин и около тридцати маленьких детей. Мужья и сыновья этих азербайджанских женщин попали в плен, наказать за это решили их семьи. Смотрю на ряды умирающих детей, на лужи коричневатой жижи, плещущейся на полу. Дизентерия. Дети умрут, не доехав до низовьев Оби; остальные погибнут там. От холода? От голода? От горя?



Эти матери даже не плакали, опуская своих детей в могилу!..

Там, где Томь впадает в Обь, на правом берегу, мы похоронили еще двух ребятишек. Странные это были похороны! Без гроба, не на кладбище и даже — не на берегу, а у самой кромки воды. Подняться выше — конвоир не разрешил.





...это был он — тот самый, знаменитый стахановец. Вася Тимошенко...

...Тимошенко... И он - тот самый „стахановец", по которому все должны были равняться - и он в тюрьме! Хозяин - никого не щадит... Ах Фрося, Фрося! И чего это ты..." Тут она, горестно, махнула рукой и ещё ниже опустила голову.

„Нет"! Васю Тимошенко мне было не очень жаль - уже слишком свежо было, в моей памяти, как он, сытый, издевался над нами, голодными!

...это был он - тот самый, знаменитый стахановец Вася Тимошенко...

Впрочем, трудно было поверить, что этот сгорбленный, осипший, дрожащий от холода, оборванец и есть тот самый „торжествующий хам", сидевший за „персональным столиком, с „вымпелом" и надписью „стахановец".

Тюрьма - везде тюрьма но... каждая - по-своему."

И потянулись „тюремные будни"!... Подъем. „Прогулка" ... с „парашей", до нужника (вернее - до ямы, стоя на краю которой, приходилось отправлять естественные надобности, на глазах, у конвоира... пока



В нарымской камере предварительного заключения (КПЗ) мне пришлось провести зиму 1942/43 года.
...Воды нам давали два раза в день по 200 граммов. Из этой порции не легко было выкроить что-либо на нужды гигиены. А ведь мы были как-никак — женщины! Единственный раз за всю зиму нас сгоняли в баню. По дороге я повстречала знакомого...



...я задыхалась, но никто не посмел ослабить петлю на шее...

...Дежурный скрутил мне руки за спиной сыромятным ремнем, а другой его конец захлестнул петлей на шее... Я пыталась сохранить равновесие, опираясь затылком о стену. Не помню, когда я упала. Очнулась я от холода.



Я с любопытством знакомлюсь с материалом следствия.

Тем временем следствие продолжалось. Мне была предъявлена куча обвинений: антисоветская пропаганда, клевета, призыв к неповиновению начальству, хвалила порядки буржуазных стран, выгораживала симулянтов... С особенным негодованием я отвергла обвинение в ненависти к России. Никогда, ни одного мгновения мне не приходило в голову, что за все безобразия, несправедливости, тупость и прочее ответственность ложится на мою Родину!
На столе у прокурора — гора бумаг. Одних доносов Хохрина — 111 штук! В конце я должна поставить свою подпись. Обмакиваю перо и, не колеблясь, пишу: «ЛОЖЬ!»
— Что вы наделали?!

лодном и тёмном кошмарике, среди плачущих, отча-
шихся, убитых горем, баб — мне это было даже очень при
Чисто, тепло, светло. Солнце играет на замёрзших окнах. У
но спит на кожаном диване. По ту сторону стола,
качиваясь на стуле, сидит прокурор. На столе — гора бу
Одних доносов, написанных Хохриным.... 111!!! Читаю не
ма. В этих бумагах — жизнь и смерть. Но я уже знаю
что, для надежды — места не осталось. Но я спешить не со
раюсь и чи
таю весь
этот бред
сумасшедше-
го садиста.
Что бы так
исказить
правду, на-
до быть Хох-
риным, но,
что бы при-
нять, всё это
всерьёз.....
Кем это на-
до быть?!...
Вот здесь, на
этой страни
це собрана
вся „квинтэссенция".



Здесь я должна поставить
свою подпись.
Обмакиваю перо и, не колеблясь пишу: „ЛОЖЬ!"
— „Что вы наделали?!"

Салтымаков и... „Берсеркар"

Большой — даже огромный, грузный, с бритой головой, т
тарин. Голубоглазый, с белой кожей. Редкий экземпляр!
Начальник местного НКВД. Я его часто видела, на допроса
Сам же он никогда меня не допрашивал. Велико было
моё удивление, когда меня, неожиданно, привели, к нему.
допрос: следствие — окончено, с материалом — ознакомлена.

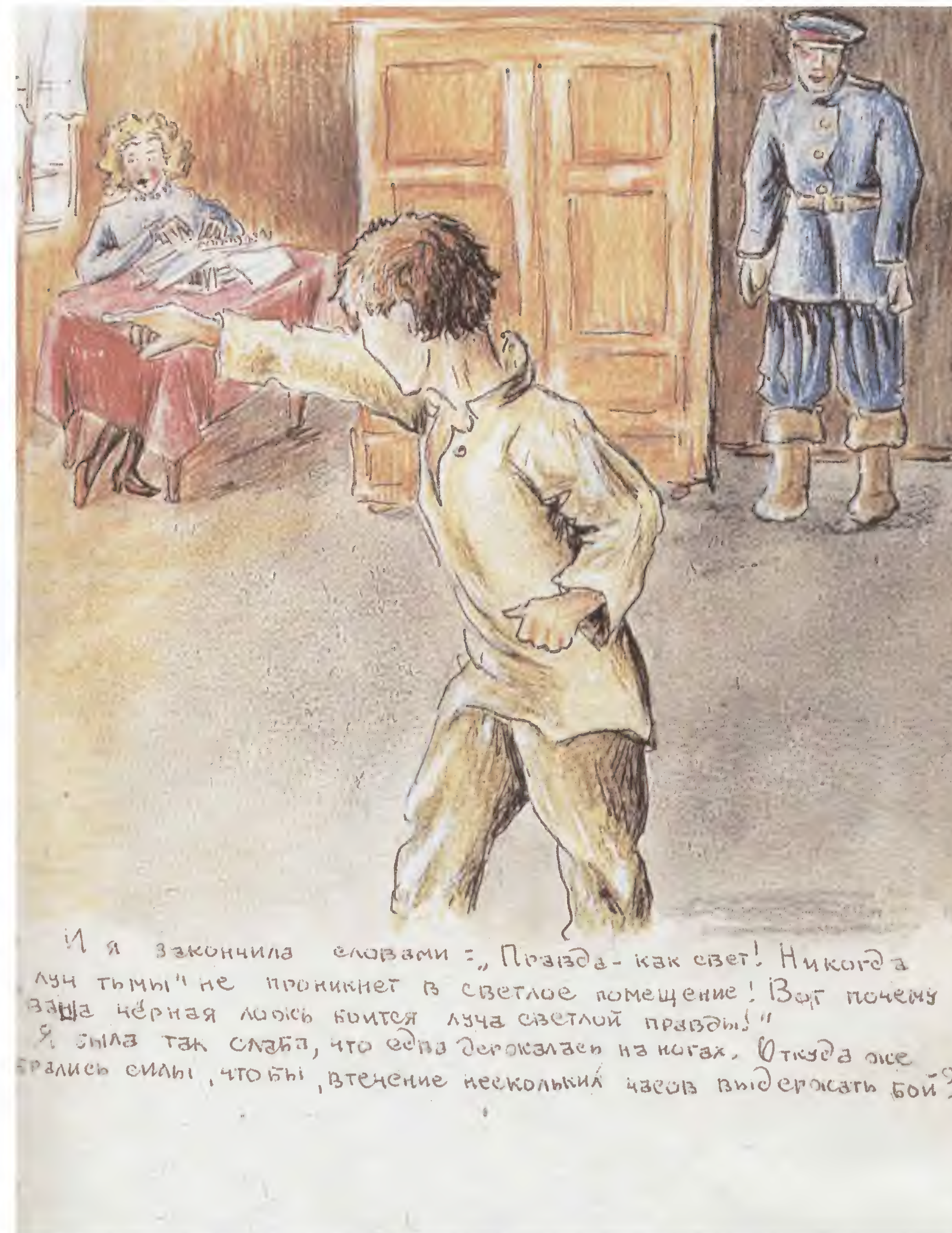


Остаётся ждать суда... (Из Новосибирска должен был
приехать какой то Белобородов) Ну, что ж... Допрос — та

Как сквозь туман видела, как метнулся Радкин меж нами.

Вдруг лицо местного начальника НКГБ Салтымакова, до того — спокойное, изменилось и приняло свирепое выражение. Он вскочил и со словами «довольно я слушал твое змеиное шипенье!» двинулся на меня с вытянутыми ручищами...
Я отреагировала «автоматически» — ударом бокса в скулу! Рванув из кобуры наган, он ринулся ко мне. Прыжок — и в моих руках стул...
Наверное, меня охватила та «ярость берсекара», в которую впадали древние викинги. Иначе немыслимо объяснить ни силы, откуда-то взявшейся, ни того, что я перестала видеть и соображать. Очнулась я лишь тогда, когда между нами оказался начальник милиции.





В зале суда я видела только Белобородова. И с Белобородовым я приняла бой «с открытым забралом» — бой более нелепый, чем любой из подвигов Дон-Кихота. Я знала, что все заранее предопределено, что судьи — «заводные куклы», у которых вместо разума и души — лента с дырочками, как у шарманки. Но я не хотела быть паяцем, которого после представления выбрасывают. В Барнаульской тюрьме я читала и перечитывала переписку Маркса с Энгельсом. И я выкладывала то, что я видела и сама пережила, сопоставляла всю нашу действительность со взглядами и комментариями основоположников коммунизма.

Не о себе я говорила и не пыталась защищаться. О, нет! Я перечисляла все безобразия, что я видела в ссылке, в побеге, в тюрьмах... и не просто цитировала взгляды Маркса, но иногда по памяти указывала № письма и страницу книги. И я закончила словами: «Правда — как свет! Никогда «луч тьмы» не проникнет в светлое помещение! Вот почему ваша черная ложь боится луча светлой правды!»

Я была так слаба, что едва держалась на ногах. Откуда же брались силы, чтобы в течение нескольких часов выдержать бой?

До сих пор слышу слова приговора, произнесенные Белобородовым:
«Именем Союза Советских Социалистических республик... к высшей мере социальной защиты — расстрелу!»



Я не рассчитала свои силы... Голова закружилась, и я бы упала, не подхвати меня Швец... «Ты не тушуйся: они заметят!» Когда смысл дошел до меня, я поняла, что физическую слабость он принял за страх... Боже мой! Как я рассмеялась! Ручаюсь, что эта крутая лестница не слыхала более звонкого смеха!



Лист бумаги, карандаши, предупреждение: «Через 72 часа срок истекает». Я пожала плечами: «Для меня он уже истек». Однако бумагу взяла и написала: «Требовать справедливости не могу; просить милости не хочу!» Тут уж не Дон-Кихот подсказал мне эту фразу, а заносчивый вельможа Роган: «Roi-ne puis; Prince — ne deigne: Rohan je Suis.» Однако иметь бумагу, карандаш... и не нарисовать с натуры «интерьер» КПЗ? Смрадный клоповник, и женщины, ведущие борьбу со вшами... Не совсем подходящая обстановка для гордого Рогана, который, поскольку он не мог быть королем, считал ниже своего достоинства быть принцем!

Мне дали лист бумаги, чтобы я написала просьбу о помиловании. Надоела мне вся эта «петрушка»! ЧЕЛОВЕК СТОИТ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО СТОИТ ЕГО СЛОВО, а мое слово было уже сказано...
Расстрел мне заменили десятью годами в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ).

ЭТАП





Сколько горя было в этом задыхающемся, старческом голосе: «Вася! Соколик родимый! Кормилец мой, ненаглядный!»
Далеко, прямо, целиной, по глубокому снегу бежала старуха.
— Шире шаг! — рявкнул конвоир, видя, что невольно все оглядываются.
Сколько беспомощного отчаяния было в попытке старухи догнать сына. Она размахивала клюкой и не выпускала из рук котомку с «передачей». Вот она уже выбралась на дорогу. Но дорога идет в гору. Она уже не кричит. Видно, воздуха не хватает. Расстояние увеличивается. Но она все пытается бежать.

Вот она упала. Встала, закружилась на месте и снова упала. Вот она встала и, не подымая торбы с «передачей», побрела еще немного и — упала и больше не вставала... Пока мы не завернули за стоявшие на отшибе домики, откуда дорога пошла вниз, на лед Оби, мы могли видеть лежащую на дороге темную фигуру. Что с ней? Не выдержало старое сердце? Или просто рыдает и рвет на себе волосы? Встанет ли? Или замерзнет? И... что, собственно говоря, для нее лучше?

Передавая начальнику конвоя наш караван, охранник сказал:
— Когда их сдашь из рук в руки в Томске — пусть хоть все умирают, но довести ты их должен живыми...
Впереди каравана — начальник конвоя на коне, затем мы — 11 женщин, потом — опять верховой и группа мужчин — 33 человека, позади — сани с провиантом и охранниками.
Эх, Сибирь, матушка-Сибирь! Много караванов невольников гнали по твоим просторам! Звенели прежде кандалы... Теперь они стали не нужны: в кандалы закованы теперь не руки и не ноги, а души человеческие!


„Станок"- бывшая почтовая станция, на, некогда оживлённом „ку=
пецком" тракту. Обычно, это - полуразрушенное здание: тёплая и „хо=
лодная" половины. В тёплой - конвоиры. Там же - меновой торг: на
сэкономленный, из нашего пайка, хлеб, конвоиры выменивают, у
крестьян, мясо, рыбу, молоко, самосад. Нам дают 600" грамм (вернее -
-половину) нашего этапного пайка и кружку тёплой воды. Это - на
сутки. Подымают нас... в 2 часа ночи и гонят до заката. Станок от
станка - верст 40-50. Удивляться ли, что мы, проглотив свою пай-
ку, валимся и засыпаем, не замечая, что под нами: каменный или
бревенчатый пол? Есть ли, хоть немного сена или хвои? Мы не за=
мерзаем, т.к. нас, как-никак 44 человека, а конюшня - невелика.
„Параши"-нет.

«Станок» — бывшая почтовая станция на некогда оживленном «купецком» тракте. Обычно это — полуразрушенное здание: теплая и холодная половины. В теплой — конвоиры. Там же — меновой торг: на сэкономленный из нашего пайка хлеб конвоиры выменивают у крестьян мясо, рыбу, молоко, самосад. Нам дают «600» грамм (вернее, половину) нашего этапного пайка и кружку теплой воды. Это — на сутки. Поднимают нас... в 2 часа ночи и гонят до заката. Станок от станка — верст 40—50. Удивляться ли, что мы, проглотив свою пайку, валимся и засыпаем, не замечая, что под нами: каменный или бревенчатый пол? Есть ли хоть немного сена или хвои? Мы не замерзаем, так как нас как никак 44 человека, а конюшня невелика. Параши нет.


чатки, от которой кишечник должен быть освобождён.
Пусть это происходит - раз в 2-3-4, а то - и больше -
дня, но зато.... Какая это была пытка!
Спасибо Любе Криштапчук: ее большой платок - плед
с френзелями, нас, женщин, выручал.....
Когда конвоир давал команду - „Оправься" две
женщины натягивали эту шаль
Когда конвоиры давали команду
-„Оправься!" две женщины натягива-
ли эту шаль и остальные, по
очереди, скрывались за этой зере-
мерной „занавеской", которая, од-
ко не должна была доходить до
низа - так, что бы конвоир мо-
гли, непрерывающейся женщины. Что касается мужчин, то
они должны были - тут же, рядом с нами, оправлять свою есте

Когда конвоир давал команду: «Оправьсь»,— две женщины натягивали эту шаль...

Что касается меня, то именно это было причиной самого невыносимого страдания — хуже голода, хуже жажды, хуже холода, хуже самой нечеловеческой усталости. Самое мучительное, самое унизительное чувство для меня — стыд...





...удар в грудь... подножка... и я полетела вверх ногами в снег. Первое, что я почувствовала,— это то, что хлеб у меня из рук вырвали... В следующее мгновение я поняла все. Рядом со мной копошилась серая куча: это, рыча по-звериному, дрались из-за хлеба мужики. Хлеб был мерзлый; раскрошить его было не так-то просто! Татьяна усердно нахлестывала лошаденку, стараясь как можно скорее отъехать от места свалки. Леня Пощаленко гарцевал на коне, положив руку на кобуру. Я встала и пошла туда, где стояли, сбившись в кучу, женщины. На месте потасовки — лишь взрытый и потоптанный снег да следы крови напоминали о том, что там произошло...

Что и говорить! Велико влияние голода на человека! Он срывает с него налет цивилизации и превращает опять в зверя. Не всегда это проявляется в одинаково уродливой форме: Царь-Голод каждый раз по-разному проявляет свою власть.



Вот навстречу нам идет разрумянившаяся от мороза молодка. На коромысле — две бадейки воды. Тут я почувствовала, вернее... осознала мучительную жажду и резко нарастающую слабость. Напряжением воли я почувствовала, что идти вперед я могу, но отвести взор от бадеек с водой я не в силах... Вдруг... все вокруг померкло. Лишь женщина с ведрами осталась в поле зрения. Тут это «поле зрения» стало сужаться, как «шторки» фотоаппарата. И тьма поглотила все. Тьма, непроглядная тьма, поглотила все.

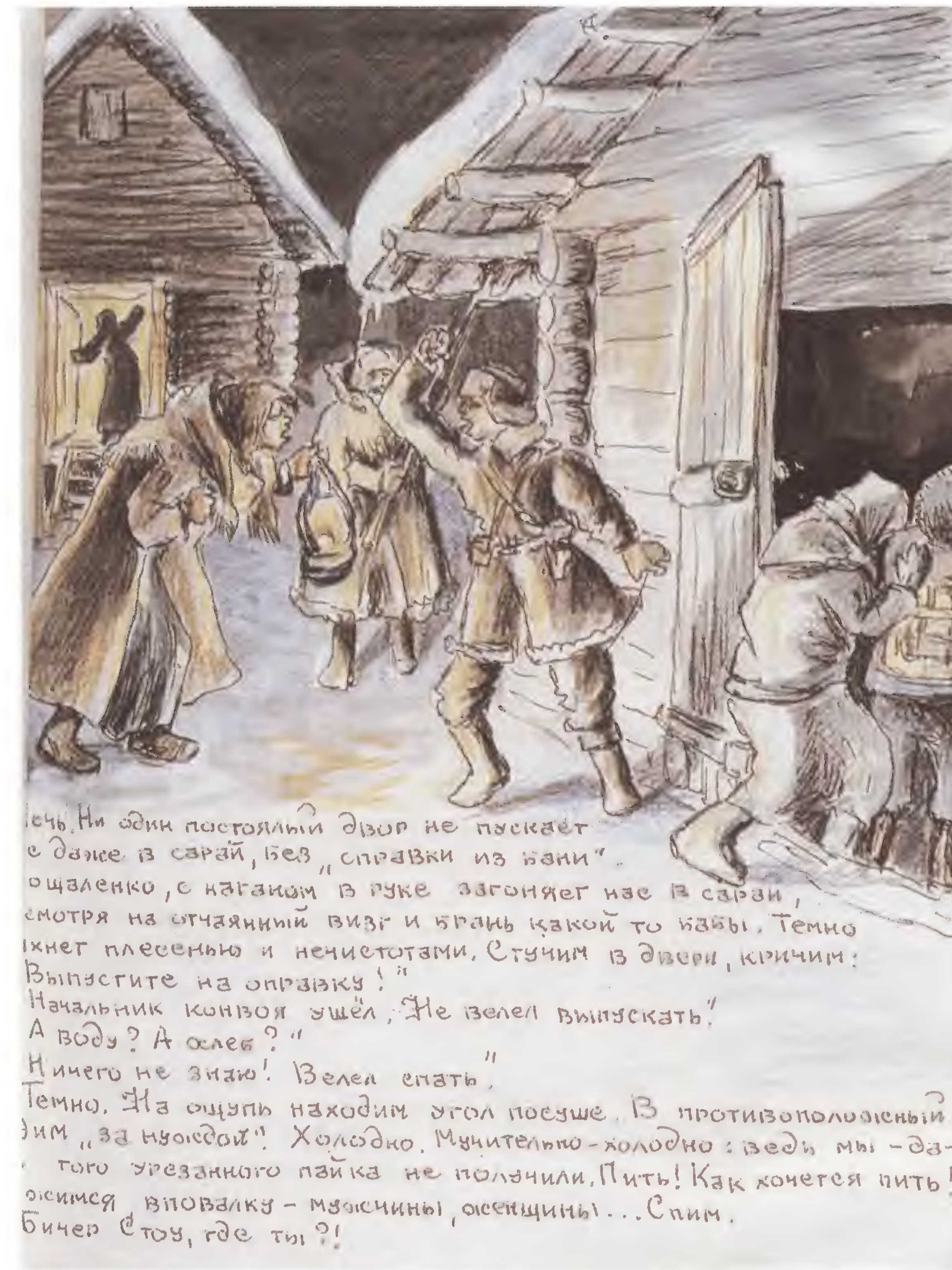


— Встанет! Живуча...
— Придется ей хлеба дать!..

Я хотела встать. Даже рванулась, но будто что-то тяжелое прижало меня и не давало шелохнуться. И — тьма, кромешная тьма. Вдруг я почувствовала запах хлеба: конвоир совал его мне в рот. Замерзший ломоть хлеба — граммов сто — толщиной в палец я съела с трудом. И — о чудо! Я почувствовала, что тьма редеет, и, собрав все силы, встала. Но, Боже мой, чего мне стоили эти несколько километров!



В Томске свирепствовал тиф — и сыпной, и брюшной. Тюрьма не принимала этапов, не прошедших бани и прожарки, а бани не принимали заключенных: горячей воды не было. До позднего вечера бродили мы по городу. Мела поземка. Мы — голодные, продрогшие, измученные — еле держались на ногах. Вот баня. «Сада-и-и-сь!» Мы покорно опускаемся на мостовую. Безуспешные переговоры, и — «Па-а-ашел»! И опять мы бредем.



Ночь. Ни один постоялый двор не пускает нас даже в сарай без «справки из бани». Пощаленко с наганом в руке загоняет нас в сарай, несмотря на отчаянный визг и брань какой-то бабы. Темно. Пахнет плесенью и нечистотами. Стучим в двери, кричим:

— Выпустите на оправку!

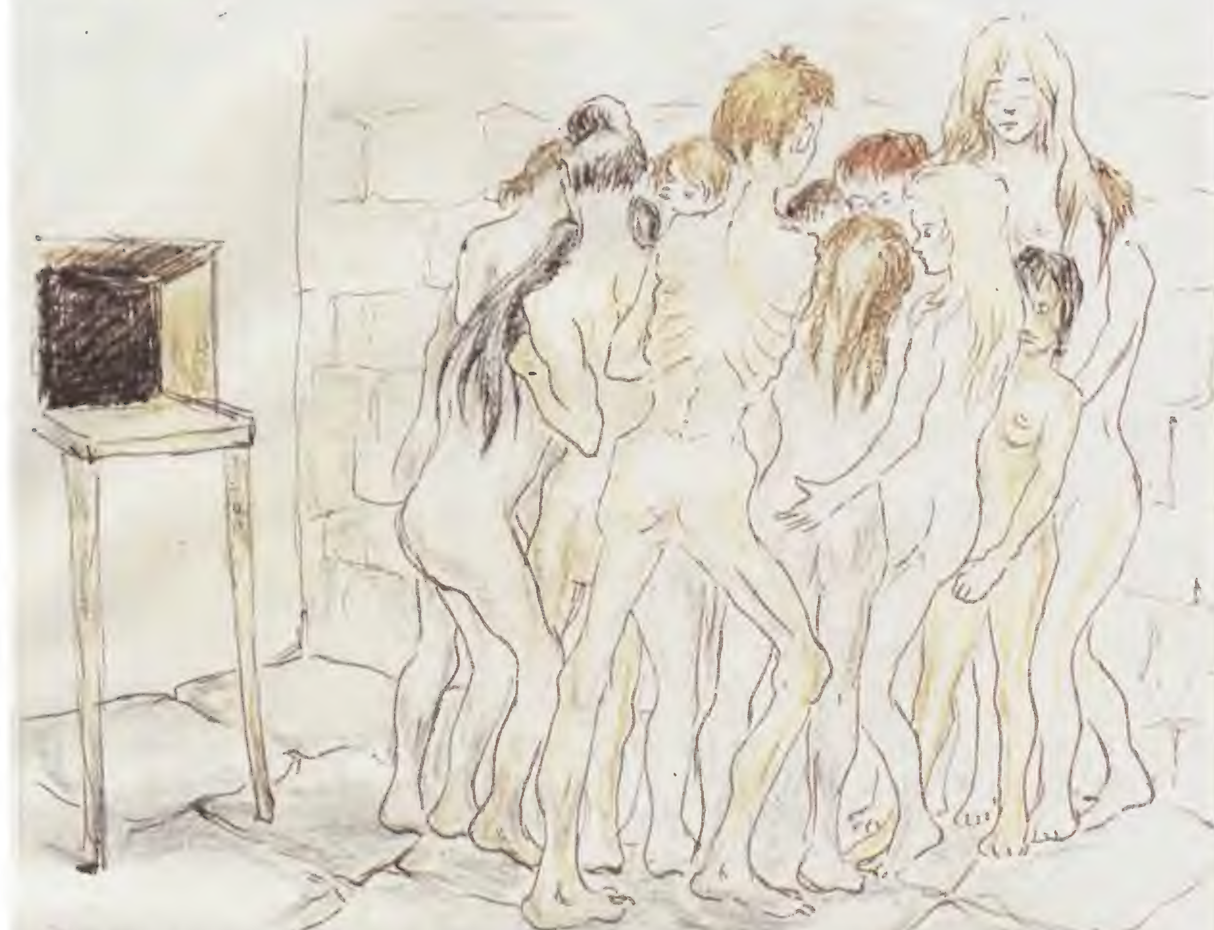
— Начальник конвоя ушел. Не велел выпускать.

— А воду? А хлеб?

— Ничего не знаю! Велел спать.

Темно. На ощупь находим угол посуше. В противоположный — ходим «за нуждой». Холодно. Мучительно холодно: ведь мы даже того урезанного пайка не получили. Пить! Как хочется пить! Ложимся вповалку — мужчины, женщины... Спим.

Бичер Стоу, где ты?!





...солдату в шубе было не жарко... а каково было нам — голым, мокрым, босым на каменном полу?!

Предела издевательствам — нет, как нет предела выносливости человеческой. Наконец баня нас «приняла». Наши вещи отправились в прожарку. Однако вместо сухого пара их просто смочили холодной водой... А мы, стоя голышом на каменном полу предбанника, ожидали нашей одежды почти пять часов! Дикая была картина: клубок мокрых женских тел сине-фиолетового цвета всё время шевелился — каждый изо всех сил стремился пробиться внутрь клубка, откуда его в свою очередь вытесняли те, кто был на «периферии». Это «вечное движение», должно быть, нас и спасло.



Солдаты гоготали: «Ишь, богородицы!»



Разумеется, я попыталась объяснить начальнику тюрьмы, что мы — новый этап, только что прибывший из Нарыма, что нас двое суток не могла принять тюрьма, что мы до предела измучены...
— Рассуждать смеешь! Рррраздеть — и в карцер!
Кто-то сорвал с меня через голову гимнастерку. Потащил и рубашку с короткими рукавами, но, убедившись, что под ней — голое тело, оставили...



Я стояла на одной ноге: другую — некуда было опустить...

«С корабля — на бал». Все карцеры заняты под тифозные изоляторы, поэтому меня запихнули в нужник. После бессонной ночи от усталости я могла упасть на, не успевшие еще замерзнуть, «пирамиды». Чтобы сбить сонливость и подбодрить себя, я запела: сначала «Нелюдимо наше море...», затем переключилась на «Бородино»...



Поезд дернулся и остановился. Дверь покатилась в сторону.
— Выходи! Остановка — одна минута! Прыгай! Живо!
Ночь. Непроглядная тьма. Станции нет. Стоим не то в поле, не то на поляне: на фоне неба — силуэты голых ветвей. Куда прыгать? Два конвоира соскочили... и сразу скрылись неизвестно где. Мои сборы были недолгими: рюкзак — на спине; голова непокрыта: моя беличья шапка, которую шкипер Люба мне дала за мой «похоронный» платок, сгорела в прожарке. Я прыгнула, скатилась по насыпи и погрузилась по пояс в снег. Я сразу обернулась в сторону вагона, откуда неслись вопли и брань. То, что я увидела, было возмутительно, но... и смешно. В вагоне горела свеча, и видны были силуэты людей. Некоторые прыгали сами, кое-кто сползал на животе, но большинство вылетало от удара ногой. Летели чемоданы, узлы, котомки. Поезд тронулся. Солдаты соскочили. А багаж?





Прибытие в исправительно-трудовой лагерь оказалось кульминацией издевательства. Прежде всего нас заставили раздеться догола и нас впихнули в какие-то досчатые кабины без крыши. Над головой — сверкали звезды; под босыми ногами — замерзшие экскременты. Сечение ящика — 1 кв. м. В каждом 3—4 мужчин и женщин — голых, дрожащих, испуганных. Затем, открывая один за другим эти «собачьи ящики», выводили голых людей и вели через двор — своего рода «предбанник» лагеря — в специальное здание, где «оформляли» документы и «шмонали» наши вещи.
Цель обыска заключалась в том, что лохмотья оставляли нам, а хорошие вещи — свитера, варежки, носки, шарфы, жилеты, хорошую обувь — забирали себе. Десять грабителей бесстыдно обворовывали обездоленных, чуть живых людей. «исправительный» должен делать нас лучше. «Труд» облагораживает, а лагерь? Это же — не тюрьма. Так что же это происходит?!



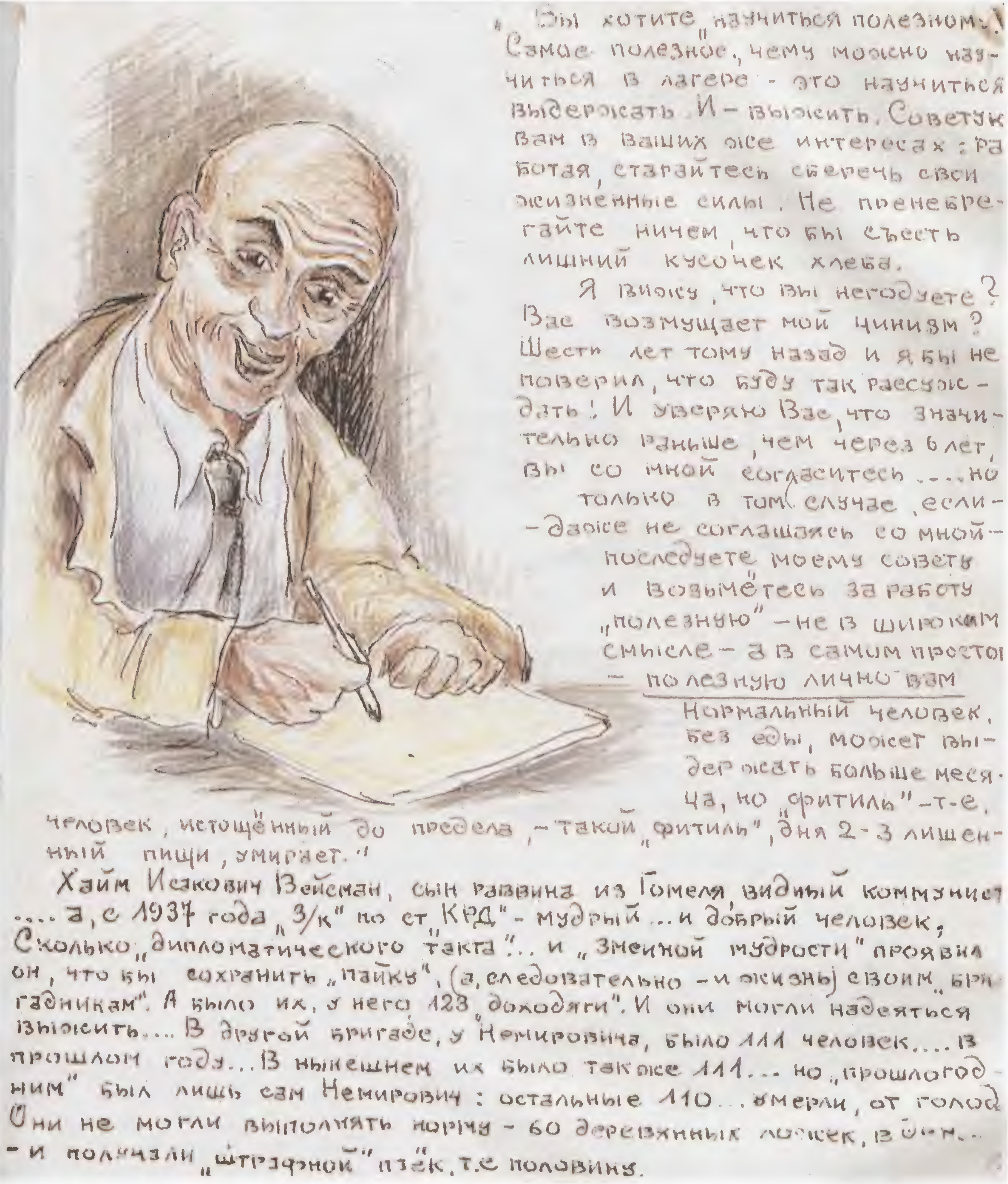












Вы хотите «научиться полезному». Самое полезное, чему можно научиться в лагере,— это научиться выдержать. И — выжить. Советую вам в ваших же интересах: работая, старайтесь сберечь свои жизненные силы. Не пренебрегайте ничем, чтобы съесть лишний кусочек хлеба.
Я вижу, что вы негодуете? Вас возмущает мой цинизм? Шесть лет тому назад и я бы не поверила, что буду так рассуждать! И уверяю вас, что значительно раньше, чем через шесть лет, вы со мной согласитесь... но только в том случае, если — даже не соглашаясь со мной — последуете моему совету и возьметесь за работу «полезную» — не в широком смысле, а в самом простом — полезную лично вам.
Нормальный человек без еды может выдержать больше месяца, но «фитиль», т. е. человек, истощенный до предела, такой «фитиль», 2—3 дня лишенный пищи, умирает.
Хайм Исакович Вейсман, сын раввина из Гомеля, видный коммунист... а с 1937 года з/к по ст. «КРД» — мудрый... и добрый человек. Сколько «дипломатического такта»... и «змеиной мудрости» проявил он, чтобы сохранить пайку (а следовательно, и жизнь) своим «бригадникам». А было их у него 123 «доходяги». И они могли надеяться выжить... И в другой бригаде, у Немировича, было 111 человек... в прошлом году... В нынешнем их было также 111... но «прошлогодним» был лишь сам Немирович: остальные 110... умерли от голода. Они не могли выполнять норму — 60 деревянных ложек в день — и получали «штрафной» паек, т. е. половину.



И все же я настояла на своем и принялась за изучение «полезной» специальности бондаря. Если есть желание освоить какое-либо ремесло, то рано или поздно успех будет достигнут. «Рано или поздно»... Вся беда в том, что в нечеловеческих условиях лагеря успех обязательно пришел бы слишком поздно.



«Куриная слепота»... Странно! Солнце едва зашло. Еще светло. А вереница «фитилей» бредет, опираясь о стену и щупая палкой дорогу к раздаточному окну — как в темноте!
Но для них эта и на самом деле темнота уже наступила. Это — вид авитаминоза, известный под названием «куриная слепота»! У слепых вырабатывается способность ориентироваться в темноте. Но эти «доходяги» слепы лишь после заката солнца. Они оступаются и спотыкаются на каждом шагу, и поэтому, чтобы не пролить драгоценный черпак баланды, они спешат выпить ее через край, не отходя от раздаточного окошка. Как раз тут чаще всего на них натыкается следующий и выбивает из рук драгоценную бурду. «Потерпевший» в отчаянии: он ползает по растоптанному снегу с опилками, собирает горстью и отправляет в рот... опилки, пропитанные баландой.



Сарра Абрамовна отправилась в Томск по самому бездорожью.

От успеха экспедиции начальницы медсанчасти Сарры Абрамовны Гордон зависела жизнь восьмисот доходяг. Несмотря на запрещение, мы все высыпались из бараков. Наши самые горячие молитвы сопровождали в пути эту храбрую женщину, впервые оседлавшую лошадь...



«Пасхальный стол» 1943 г.

— Ну, Фрося! Что я принес! Вот с тобой и разговеемся.— Баландин бережно расстелил на краю горна тряпочку — это была целая чайная ложечка соли! Могло ли что-нибудь быть вкуснее!
— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!



Если на свете есть что-нибудь до того омерзительное, что отвращение вызывает, что-то, близкое к ужасу, то это — пьяное существо, потерявшее облик человеческий... особенно, если это — женщина. Но быть запертой с такой тварью в тесной клетушке... Это отвращение так и осталось в моей памяти неотделимым от праздника 1-го Мая — такого радостного, весеннего, душистого. Тогда вечером солдат меня не забрал, пожалел. Но утром... это закон: в «праздник» надо политических «репрессировать».

В лагере такой обычай: как наступает советский праздник — политических отправляют в ШИЗО /штрафной изолятор/... Моя сокамерница была пьяная «бытовичка». Таких грязных ругательств, какими эта «дама» сыпала, как горохом, я никогда в жизни не слышала. В своем буйстве она орала, каталась по полу и, наконец, опрокинула парашу...



«...плетет он кружево ярких образов, событий...»

У меня не было основания питать нежные чувства к Сибири, но, когда старый профессор Томского университета Николай Николаевич Колчанов начинал говорить об истории и географии Сибири, трудно было не поддаться очарованию его рассказов. Чем прогневал советскую власть этот, милостью Божией, лектор, что его заставили плести корзины вместо чтения лекций в студенческой аудитории?



Мужики вылили отходы больничной кухни в отлив нужника, и, как только они ушли, вся толпа «доходяг», делавших «стойку», как охотничьи собаки, ринулась к отливу. Они отталкивали друг друга, выгребали руками рыбьи пузыри, чешую и жадно поглощали их. Перед глазами у меня финал этой картины. На скудной, вытоптанной травке стоит на четвереньках профессор Колчанов; все тело его сотрясается — его рвет... Когда рвотный спазм прекращается, он сгребает с земли то, что вырвал, и... отправляет в рот...
— Ага! Значит, вы наблюдали «цвет нашей интеллигенции»! — саркастически сказал Порошин, когда я об этом рассказала на работе.



Так умер Вилли Энгель, веселый паренек — немец из Саратова. Истощенный до предела, он работал из последних сил, чтоб перевыполнить норму и получить «премблюдо» — ложку капусты. Сердечная мышца... Да что от нее осталось, от этой мышцы? Явно недостаточно для того, чтобы перекачивать кровь... и оно остановилось...



Пеллагрик оспаривает у клячи право на тощие, чудом уцелевшие травинки.

Я могу обобщать, но делать выводы, пожалуй, права не имею: ведь за все годы неволи я была всегда в менее благоприятных условиях, чем мои товарищи по несчастью, так как ни разу не пыталась выбрать более легкий путь, не поддавалась соблазну извлечь для себя материальную выгоду в ущерб другим и отвергала как недостойное малодушие возможность выбрать менее опасный труд. Тем не менее, я никогда не страдала повальной лагерной болезнью — пеллагрой...

Как ни велика была физическая деградация больных цингой — изменения в психике были еще разительней, еще ужасней. Эти, потерявшие облик человеческий, полуживые существа, похожие на растерзанные тряпичные куклы, могли целыми днями ссориться, брюзжать, цинично и грязно сквернословить, с наслаждением насмехаясь над слабостями соседей, чтобы причинить им еще большее страдание.



«Воздуха! Они отравлены хлороформом!»

Приторный запах хлороформа (по-видимому, украденного в санчасти) ударил в нос, и я, бросив беглый взгляд на нары, схватила единственный стул и шарахнула им по окну. Стекла разлетелись вдребезги.



Я никогда не была специалистом по джиу-джитсу... Но тут во мне проснулся инстинкт древний, как жизнь,— тот инстинкт, который заставляет зверя, не задумываясь, бороться за обладание своей добычей — той пищей, которая дает ему возможность выжить. Того, кто, нападая спереди, запустил свою лапу в котелок баланды, я ударила ногой в пах, а когда он согнулся в три погибели, поддала коленкой в зубы, а тому, кто, нападая сзади, просунул руку из подмышки и попытался вытащить мою «пайку» из-за пазухи, я ударила затылком в нос. Затем, обернувшись, замахнулась котелком... и чуть не «вмазала» Касымову, спешившему мне на помощь...



Боже мой! Это была Вера Леонидовна, но... на что она похожа!

Среди доходяг, прогуливающихся около больничного барака, я вдруг увидела Веру Леонидовну Танькову (урожденная Невельская). До чего же она не была похожа на ту стройную, еще моложавую женщину, какой я ее помнила!
Каким чудом у такой доходяги сохранилась беременность? Сможет ли она родить? Ее непременно надо поддержать, подкормить... И я решила это сделать.



Дюжину «доходяг» ведут на работу.

Стыдно смотреть, как десять здоровых молодых мужчин с винтовками в руках и — натасканные на людей — волкодавы ведут дюжину полуживых, истощенных женщин. Оттого стыдно, что где-то на фронте такие же солдаты грудью своей защищают родную землю.

...Несомненно: самый непроизводительный труд — это труд рабов. Особенно, когда рабовладелец — государство. Оно не заинтересовано в сохранении трудоспособности (и даже — самой жизни) своих рабов.



Разве это — собака! Это — милиционер!..



Эти дни можно назвать «днями относительного счастья». Я несла «двойную нагрузку»: ночью работала в мастерской, днем — в поле. Зато была цель: надо было натереть картошки, отжать и, спрятав на теле, принести Вере Леонидовне. Только так можно было спасти ее ребёнка... и ее саму. Затем я могла поесть сырой картошки, а витамины были так нужны истощенному организму! Без них даже то малое количество белка, что я получала в хлебе, не усваивалось... А, кроме того, когда под ногами — земля, а не захарканный лагерный грунт, а кругом — горизонт, а не колючая проволока, когда зеленеет трава и видишь перелески в ярком осеннем наряде... И в небе видишь птиц — символ свободы. Пусть это — галки, грачи, но они — вольные птицы! Что ж? Тогда можно не замечать солдата с винтовкой и собаку, натасканную на людей...

Пронести картошку при подобном «шмоне» было невозможно. Но выход был найден: пробитая гвоздем крышка от консервной банки превращается в терку, а несколько кусочков марли — в мешочки, которые было удобно прятать на теле. Проблема дополнительного питания для беременной женщины была решена!
...Вскоре Вера Леонидовна родила. И ребенок был жив!



Унизительная это процедура — «Шмон»!



Мы строили завод имени Чкалова — эвакуированный откуда-то с Урала. Мы понимали, что нужно торопиться, но... Боже мой, до чего же примитивным способом приходилось строить! Безусловно, во времена фараонов строительные работы были лучше механизированы. Пожалуй, и кормили рабов лучше: ведь, чтобы пополнить убыль рабочей силы, фараонам надо было воевать с соседними странами; здесь же «кадры» черпались щедрою рукой из своего же народа. И мы старались... Но как тяжело катить железную тачку с раствором на 5-й этаж... когда голод разрывает внутренности, холод сводит пальцы, а деревянные подошвы скользят и... не на что надеяться.



На поверку должны явиться все... даже мертвецы...

В 10 часов — поверка. Все, кто работает на «объекте», собираются во дворе. Даже тот, кто успел за ночь умереть. Знай порядок, «жмурик»!



Было больно смотреть, как эта, слабенькая, с виду, девочка, с какойто отчаянной лихостью, гоняет, по траппу, тяжелую тачку, с раствором. Мороз доходил до -30°-35°. Что бы раствор не замёрз надо было бежать... а, на ногах, „чэтэзэ" на деревянной подошве. Я также гоняла тачки, но я была куда крепче: сырые овощи, которыми я питалась всю осень, помогли здоровому организму обрести равновесие. Но она, эта девочка, этот „комок нервов", как могла выдержать она?!

Было больно смотреть, как эта, слабенькая с виду, девочка, с какой-то отчаянной лихостью гоняет по трапу тяжелую тачку с раствором. Мороз доходил до −30°—35°. Чтобы раствор не замерз, надо было бежать... а на ногах — «чэтэзэ» на деревянной подошве. Я также гоняла тачки, но я была куда крепче: сырые овощи, которыми я питалась всю осень, помогли здоровому организму обрести равновесие. Но она, эта девочка, этот «комок нервов», как могла выдержать она?!



Красива Сибирская зима!
И народ сибирский должен быть крепким, мужественным... Для человека сытого, поевшего пельменей, одетого в полушубок, шапку-ушанку, пимы и рукавицы-шубенки, такая зима- радость!
А, если ты - чуть живой, идёшь на работу, похлебав „рататуй" из рыбьих костей, с чёрной, горькой капусты и на тебе - бушлат, где, вместо ваты - очёски хлопка, с коробочками от семян, на руках - брезентовые „верхонки", а на ногах - „ЧТЗ"...
Об этих „чэтэзэ" стоит расказать поподробней. Кто их изобрёл - не знаю. Они, однако, стоят того, что бы их достойное изображение было увековечено! Изготовляли их из старых автопокрышек, а подмётки, к ним, делались деревянные. Было, в них невероятно холодно. И скользко. В довершение, ко всему, были они тяжелее кандалов.... для истощённых доходяг, вынужденных их носить.

Красива сибирская зима!
И народ сибирский должен быть крепким, мужественным... Для человека сытого, поевшего пельменей, одетого в полушубок, шапку-ушанку, пимы и рукавицы-шубенки, такая зима — радость!
А если ты чуть живой идешь на работу, похлебав «рататуй» из рыбьих костей, с черной, горькой капустой, и на тебе — бушлат, где вместо ваты — очески хлопка, с коробочками от семян, на руках — брезентовые «верхонки», а на ногах — «чэтэзэ»...
Об этих «чэтэзэ» стоит рассказать подробней. Кто их изобрел — не знаю. Они, однако, стоят того, чтобы их достойное изображение было увековечено! Изготовляли их из старых автопокрышек, а подметки к ним делались деревянные. Было в них невероятно холодно. И скользко.
В довершение ко всему были они тяжелее кандалов... для истощенных «доходяг», вынужденных их носить.







СВИНАРНИК



Помещение было очень хорошее, но Боже мой! В каком состоянии были сами свиньи! Грязные, худые, они не могли встать на ноги и визжали от боли и голода. Было много больных, но... чем?! Чумой? Рожей? Сибирской язвой? Ревматизм «смазывал» картину. Надо было это все выяснить. И я решила действовать.

Свиней было 198 штук. К ним приставлены двое инвалидов, глубоко равнодушных к больным животным. Признаться, я почувствовала, что самое благоразумное — отказаться от исполнения ветеринарных обязанностей. Но имею ли я право отказать страдающему? Даже если этот страдающий — свинья?



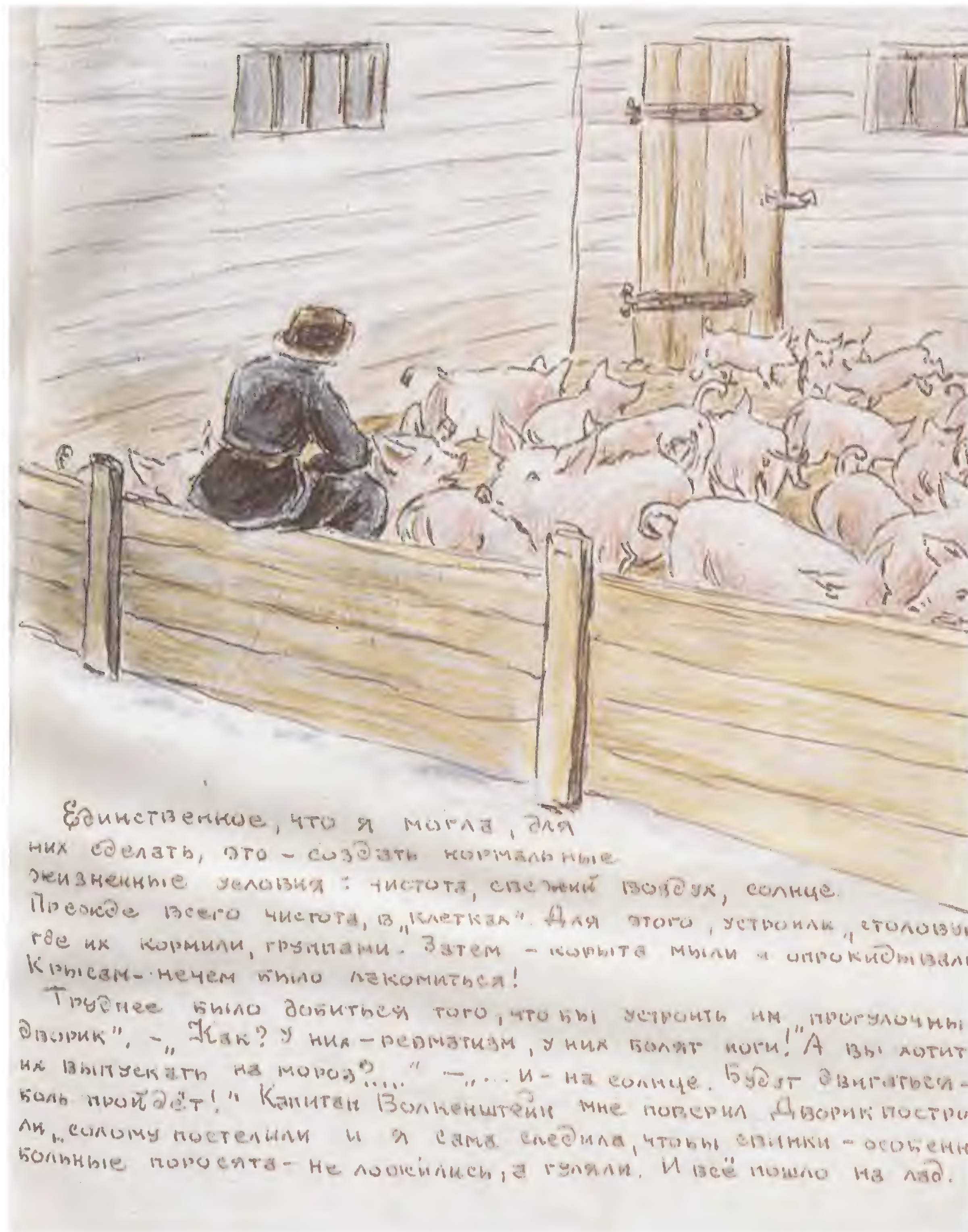
Несмотря на предостережение Сарры Абрамовны... «я перешла Рубикон» — сделала прививку всем свиньям, придерживаясь инструкции, приложенной к присланному мне материалу... и отчасти — собственного вдохновения! И все получилось на редкость удачно... чему я по сей день не перестаю удивляться. Ведь «пациенты» были истощены. Многие — уже заражены. Доза зависит от «живого веса». А если он... «полуживой»?! Однако и тут мне сопутствовала удача, порой — необъяснимая.

— Отступитесь от этой гиблой фермы! — убеждала меня Сарра Абрамовна. — У вас 58-я статья. Что бы вы ни делали, вы — всегда на подозрении. Малейшая ошибка, неудача — и вас обвинят во вредительстве! В саботаже! И ничто вас не спасет! Вас расстреляют!



Крысы... и опять крысы...

Сколько раз я просыпалась из-за навалившейся на меня тяжести! Это был сплошной ковер из шевелящихся омерзительных крыс. Я закутывала голову, но все равно — то одна, то другая впивалась зубами в ухо или в губу. Они нисколько меня не боялись. Иногда, когда я подходила к клетям, они прыгали на меня и кусали выше колена.



Единственное, что я могла для них сделать, это — создать нормальные жизненные условия: чистота, свежий воздух, солнце. Прежде всего, чистота в «клетках». Для этого устроили «столовую», где их кормили группами. Затем корыта мыли и опрокидывали. Крысам нечем было лакомиться! Труднее было добиться того, чтобы устроить им «прогулочный дворик». «Как? У них — ревматизм, у них болят ноги! А вы хотите их выпускать на мороз?..» — «...и на солнце. Будут двигаться — и боль пройдет!» Капитан Волкенштейн мне поверил. Дворик построили, солому постелили, и я сама следила, чтобы свинки — особенно больные поросята — не ложились, а гуляли. И все пошло на лад.



Минута была торжественная...

Есть обстоятельства, когда окрестить ребенка может любой человек, даже женщина.
Обряд крещения потомка знаменитых адмиралов Невельских происходил в свинарнике — в обстановке, по меньшей мере, необычной... С самого того момента, как я, опустив крестик в воду, читала «Отче наш», у меня было ощущение, что все это делаю не я, а сила, которая выше меня!

— Крещается раб Божий Димитрий во имя Отца! Аминь! И Сына! Аминь! И Святаго Духа! Аминь!

Окуная крестик в воду, я чертила им крест на лбу, на груди, на ладонях и ногах, приговаривая:

— Пусть чувства твои будут чисты, разум — ясным! Пусть путь твой будет направлен к добру, поступки — служат правде. Да будет воля Твоя, Господи! Аминь!



Теперь, столько лет спустя, мне самой кажется неестественным тот фанатизм, с которым я боролась за жизнь своих подопечных! Мне давали литр молока для подкормки слабых поросят. Теперь мне понятно негодование работников свинофермы: они надеялись забелить этим молоком ту овсянку, которой они питались. Ела поросячью овсянку и я, но без молока. Молоко все, до последней капли, я размешивала с кашей, которой кормила с ложечки слабеньких поросят. У меня не только слюнки, но и слезы текли от зависти, и, чтобы «противостоять соблазну», я... пела, пока кормила молочной кашей «слабеньких».



— Мой взгляд на подобную «поэзию»,— спрашиваете вы?— Что ж, для чтения подобных стихов, свинарник — самое подходящее место. Можно бы и на помойной яме...— пожала я плечами, отвечая на вопрос Ирмы Мельман, и пошла кормить поросят. Далека я была от мысли, что этим решена моя судьба...

Иногда в свинарнике собиралась компания...
На этот раз Ирма Мельман принесла сборник антирелигиозных стихов. Трудно даже сказать, какое из этих стихотворений было глупее и пошлее! Но, пожалуй, Маяковский превзошел всех...

Не знаю… Но я повернулась, лицом к западу. Передо мной весь огромный город и косые лучи солнца заливали расплавленным золотом стены многоэтажных домов, окна которых вспыхивали, как бриллианты огромной диадемы, в серебряной оправе, уходящей на север, величественной реки.



Но не на них я смотрела, а дальше — туда где, за лиловой, угрюмой дымкой, далеко на западе, осталось всё, что было дорого мне. Там — сейчас ночь; там — ползёт грозное чудовище-война, превращающее всё в ночь и в смерть… Но всего этого я не могла, не хотела видеть и, напрягая все силы своей души, я слала туда пасхальный привет: „Христос Воскресе!" Воскрес для всех — живых и мёртвых, для близ-

...взошло огромное, пасхальное солнце...

Это была удачная идея — провести пасхальную ночь на крыше барака. Ничто не мешало мне мысленно перенестись в далекие края — к тем, кто был мне близок. «Христос воскресе!» — сказала я вслух и мысленно добавила: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!» — И мне стало на душе спокойно.



Дома, слово „пожар" сразу меня подымало на-ноги; в заключении так действует слово „этап". Этап — это перемена, а, для невольника, всякая перемена — к худшему. Но, на сей раз, этапу я обрадовалась: наверное это — обратно, на ферму! Как я ошиблась!…

Дома слово «пожар» сразу меня поднимало на ноги; в заключении так действует слово «этап». Этап — это перемена, а для невольника всякая перемена — к худшему. Но на сей раз этапу я обрадовалась: наверное, это обратно, на ферму! Как я ошибалась!..







ТЮРЬМА - ВСЕГДА ТЮРЬМА



Я с удивлением осматривала эту «в тюрьме — тюрьму»...

В СИЗО (следственный изолятор) меня ждал молодой следователь:
— Керсновская! Знаете, что вы — под следствием?
— Знаю.
— Откуда вы знаете? Кто вам сказал?
— Вы! Когда люди, подобные вам, говорят какую-либо гадость, у меня нет основания им не верить...



Мы так отрепетировали сборку и демонтаж своего «самоубийцы», что были вполне уверены, что операция пройдет «без задоринки»!

За первомайский «шмон» мы решили отомстить охраннику...
Из нашей камеры раздался оглушительный вопль. Охранник бросился к «глазку» и увидел нашего «висельника». Но пока он открывал дверь, мы в несколько секунд разобрали «самоубийцу» на составные части и притворились спящими...
— Прогрессивный паралич обычно начинается со звуковых галлюцинаций, затем — мерещатся покойники. Вам надо беречь себя! — участливо говорила я...
Вцепившись зубами в свои телогрейки, мои сокамерницы давились от смеха.



Вот так мы передавали последнюю папиросу смертнику... Машка Братищева — надежный постамент. На ее спине я могла, твердо стоя, удобно манипулировать «телеграфом», а Лида Арнаутова ловко устанавливала «перископ» — осколок стекла на фоне черной косынки.

Есть тюремный «закон»: каждый, кто только может, обязан дать покурить приговоренному к смерти...
— Спасибо, девочки, но я не курю,— услышала я приятный женский голос из камеры «смертников».
— Кто вы?
— Я — врач. Осуждена за саботаж... Может быть, кто-нибудь из вас встретит моих родных... Я родом из Киева, Павловская Ксения Александровна...



...отвращение нарастало, как тошнота,— до рвотного спазма.

Я обвинялась в антисоветской агитации и подрывной деятельности на свиноферме, кроме этого — в ненависти к «гордости советской поэзии — Маяковскому». На допросы меня чаще всего водили ночью... Следователь при посредстве изощренной системы доносов и допросов делал всё, чтобы усугубить во мне чувство безнадежности... Однажды его куда-то вызвали, и он не надолго запихнул меня в какую-то комнату. Я догадалась: здесь перлюстрируют письма... В глазах потемнело, и я скорее почувствовала, чем поняла, что это и есть та «последняя унция», которую я не в силах вынести...

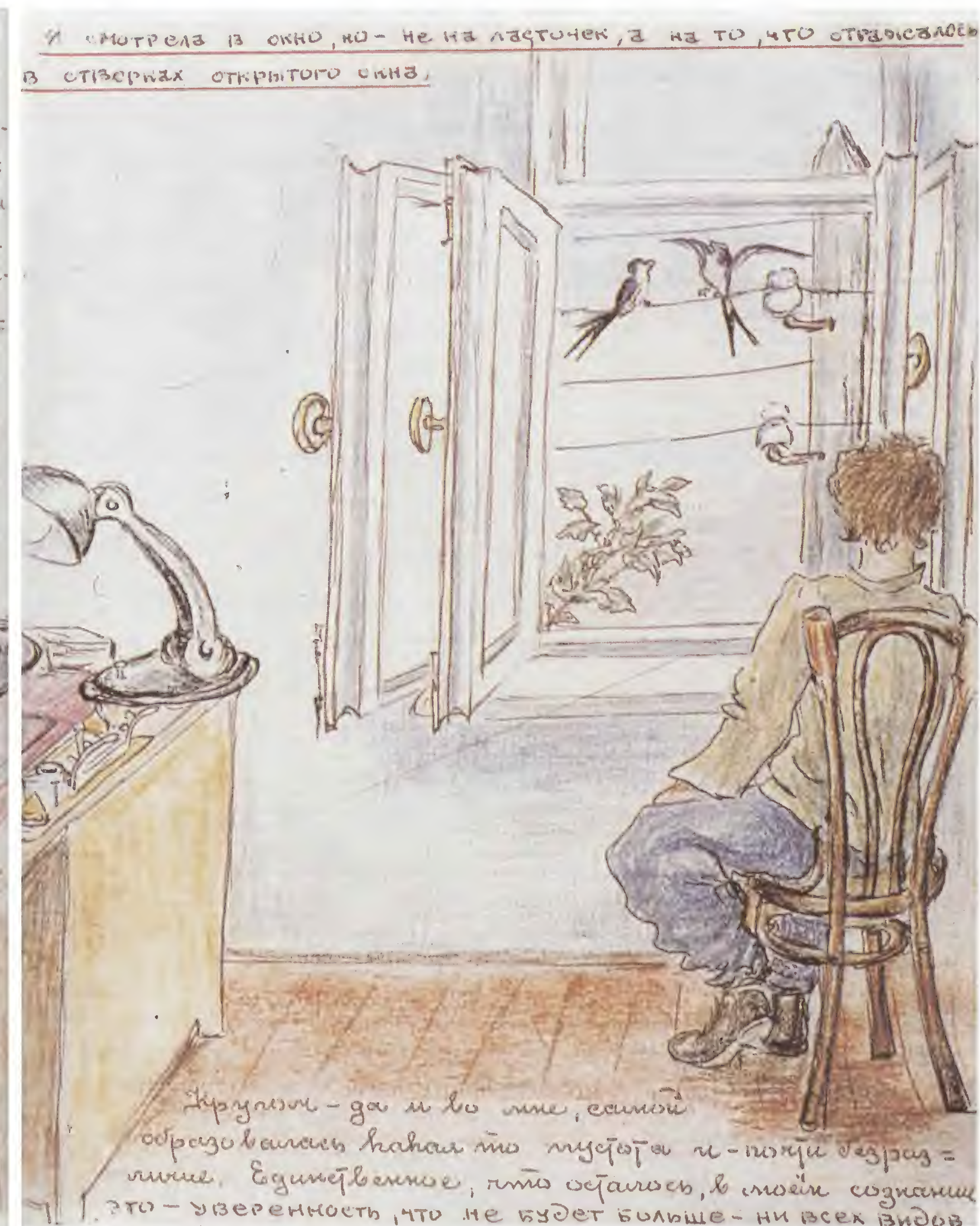


Он подался вперед и через мою голову открыл дверь.

Я шла в кабинет следователя, шатаясь, как пьяная. Понимала я лишь одно: «Люди, миллионы людей, лишены всего. Их медленно душат бесцветные, равнодушные, глухие ко всему призраки. Не могу больше! Довольно! Умереть!!! Смерть, только смерть может избавить меня от этого кошмара!»

...Следователь наклонился и — через мое плечо — удержал дверь. Его расстегнутый китель задрался, и моя рука оказалась возле расстегнутой кобуры. Двумя пальцами я подцепила пистолетик, и он перекочевал в мой карман. Говорят, самоубийце помогает сам Сатана!





Я смотрела в окно, но не на ласточек, а на то, что отражалось в створках открытого окна.

...На душе было как-то пусто и... смешно. Вот в глупое положение попадет следователь! В его кабинете! Из его пистолета! Ха!.. Я сдвинула предохранитель. Всё! Только — последний взгляд в окно. И тут я увидела ЖИЗНЬ. Голубое небо и пухлые белые облака на нем. Верхушка молодого тополька с еще клейкими листочками. И пара ласточек на телеграфных проводах — таких радостных и озабоченных своими семейными заботами! Что? Умереть? Когда небо голубое, и тополь, и листочки? Нет!.. Уж не Ангел ли Хранитель махнул своими крылами, разогнав злые чары?..
Звук упавшего на диван пистолета заставил следователя вздрогнуть. Кошачьим движением он выскользнул из-за стола, схватил пистолет и вернулся на свое место. Я наблюдала за этим в отражении створки окна.



...а стирали только мы вдвоем: глухая финка да я...

Итак, я — рецидивистка!
После суда, получив десять лет ИТЛ и пять лет «по рогам» (поражение в правах), я очутилась в БУРе (барак усиленного режима). Здесь, в прачечной, женщины по 12 часов в сутки стирали окровавленное белье, доставляемое с фронта. Какой смысл везти 4000 км это белье, чтобы мы стирали его в холодной воде и притом — почти без мыла?!



Все время своего пребывания в Злобине я грузила цемент и кирпич.

Злобино, куда я попала этапом из Новосибирска, — это знаменитый «невольничий рынок» Норильского горно-металлургического комбината. Начальники шахт, рудников и заводов «приобретают» здесь квалифицированных невольников.



Сперва я подбила глаз Марфе, а затем обезоружила Кудряшову.

В Дудинку по Енисею нас отправляли на пароходе. Ехала я в обществе «всего» лишь 240 пассажиров. В основном, это были рецидивисты. Нас заперли, и на протяжении 2500 километров пути ни разу ни один из конвоиров не осмелился зайти в наш отсек!..
Опять мне пришлось защищать чужие «сидора»! Хотя теперь я уже знала, насколько опасно идти против воровского «закона», другой закон продолжал повелевал мною: закон Дон-Кихота.



Я не знала, что «урки» с особым наслаждением издеваются над видным ученым-ядерщиком Федоровым. Я видела только, что толпа уголовников издевается над одним человеком (очевидно, фрайером), и этого было достаточно, чтоб ринуться его защищать. Били меня ведром по голове. До самой Дудинки я лежала чуть жива. Один мой башмак выбросили в иллюминатор. Так прибыла я в Заполярье — вся в синяках и в одном башмаке. Профессора Федорова я больше не встречала, но через 3 года мне принесли письмо, полное благодарности.



Мне все это казалось сплошной нереальностью. Эти игрушечные платформы, ползущие по узеньким рельсам, как бы плывущим по болотам, по воде. Полуночное солнце тоже ползло по болоту. На этих платформах ехали не люди, а сгустки горя. Чахлые деревца, растущие на островках,— все были согнуты... наверное, тоже от горя!



Мне и в голову не пришло отказаться от этой работы, от которой другие отказывались, ссылаясь на головокружение. Напротив! Я была рада, что в свободную минуту я могла смотреть в даль, на тундру, на далекие горы... и не видеть колючей проволоки и стадо невольников за этой проволокой. Но — Боже! До чего все было уныло, безнадежно! Тогда я с удвоенной энергией накидывалась на работу, ища в ней забвение...

Если работу выполняешь охотно, не дожидаясь понукания, то работается куда легче, и даже, если устаешь физически, то не испытываешь гнетущего уныния.
Главным инженером нашей норильской стройки был американец Грайпл. Мы строили пятиэтажный дом, в котором должны были разместиться горсовет, райком, собес и партбиблиотека...



Целая орава мальчишек без звука, как призраки, налетели...

Я забывала, что в «исправительном» лагере надо всегда ждать удара — в любую минуту и с любой стороны! Только чудом удалось мне спасти хлеб целой бригады! Мы не досчитались лишь одной пайки, и я пошла на работу голодной...

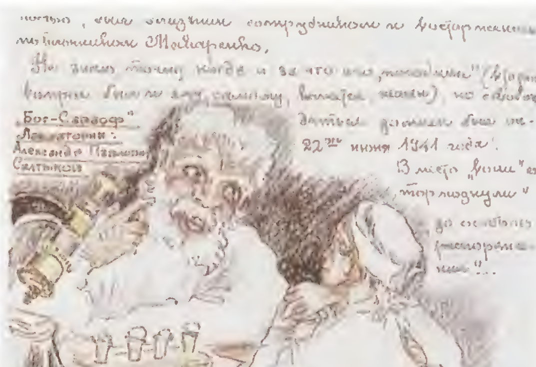


Превозмогая боль, в полубессознательном состоянии я продолжала таскать воду на 5-й этаж. Как и когда я свалилась — не помню. Меня нашли на лестнице. Я лежала вниз головой и так крепко прижимала к груди меховой жилет Зины Поп, что не могли разжать моих рук. Я бредила, ногу разнесло, как колоду, по всему телу пошли багровые пятна. «Скорая помощь» доставила меня в ЦБЛ — центральную больницу лагеря с диагнозом «септикопиэмия».

Вечером иду на прием к врачу Сорокиной. Температура — 39,2°. Та почему-то велела зайти утром. Опытные старожилы меня предупреждали: «К Сорокиной с пустыми руками не ходят". Но это же — низость! Всякое вымогательство — гнусно. Но тот, кто дает взятку, так же мерзок, как и тот, кто ее домогается!















ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ЛАГЕРЯ

Я упрямо ползла по лестнице, санитары шли за мной с пустыми носилками, на которых лежал меховой жилет



Вот так я появилась в ЦБЛ.
Как всегда — очередная беда, которая могла бы мне стоить жизни, обернулась моим спасением.



Мне было мучительно стыдно...

Говорят, что тяжелый больной не испытывает стыда. Ко мне это правило не относится!



Меня навещал д-р Мардна — знающий врач и культурный человек. С ним и с сестрой Маргаритой можно было говорить без опаски, не боясь предательства и встречая понимание. А я так изголодалась по нормальным, человеческим отношениям!



«...скажите, только скажите всю правду: мама не очень испугается, когда увидит меня такой кудрявой...»

...Не отпускали умирать домой и тех, чей вид мог послужить наглядным свидетельством того, к чему приводит исправительно-трудовой...



Обход — a-la Миллер.

В дантовском «Аду» было девять кругов. В системе лагерей СССР их было куда больше! Три из них находились в ЦБЛ. Самый нижний круг — инфекционное отделение...

В подавляющем большинстве здесь были люди просто-напросто истощенные голодом, холодом, непосильным трудом и всем лагерным укладом жизни, расчитанным на то, чтобы сломать человека — физически и морально, стереть в порошок его волю, надежду и жизнеспособность.



Раз в месяц заключенные, в том числе и каторжане, получали свою пайку сахара — 400 грамм... и это было сущее наказание, голодные, до предела истощенные люди выменивали у «придурков»,т. е. хлеборезов, поваров, зав. баней, зав. клубом и пр., пáек 4—5 хлеба за свой сахар и съедали весь этот хлеб за один присест. В результате — заворот кишок, инвагинация, одним словом, то, что называется «острый живот». Иногда при помощи клизмы удавалось «просифонить» такого «доходягу», и тогда дело обходилось без операции. Чаще всего выполнение этой процедуры доставалось мне.

В больнице на каждом шагу натыкаешься на чье-либо страдание. Наконец я нашла то, что мне было так необходимо: я могла все силы, всё свое время, всю добрую волю направить на то, чтобы помогать страдающим, приносить им облегчение. Беззаветно. Бескорыстно. И подчас — неразумно...
К великому моему удивлению, по выздоровлении я была оставлена на работе в больнице.
Меня назначили медсестрой в хирургическое отделение...



Перед перевязочной больной должен был пройти ванну. А как быть, если санитары принимают поступающего больного? Или пошли за обедом? Или понесли «жмурика» в морг? Тогда я подхватывала очередного «доходягу», несла его в ванную, мыла и затем относила в перевязочную. Это — «не мое дело»? Не беда! Справлюсь!

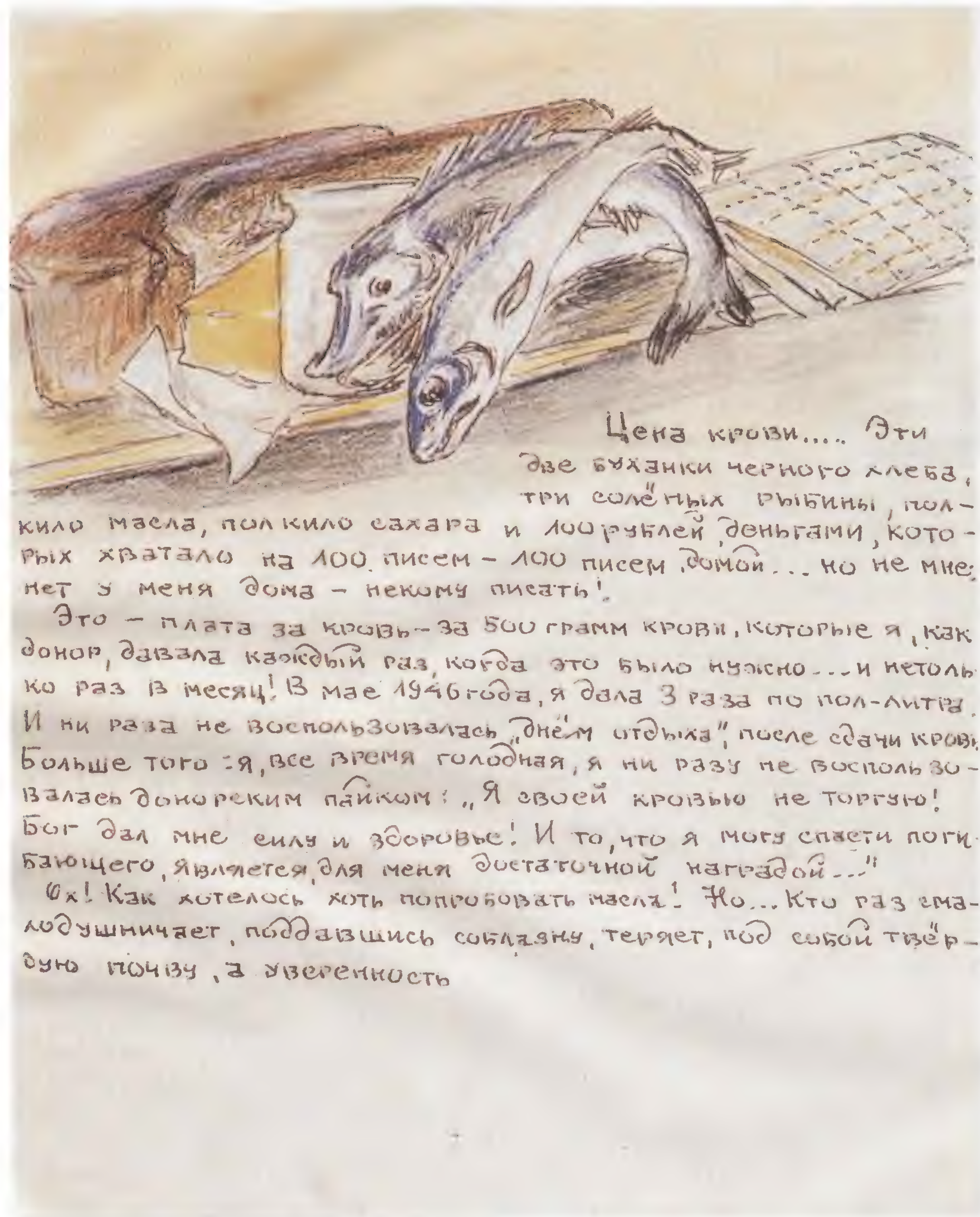


...и кабинет Веры Ивановны не имел чопорно-казенного вида...

Вера Ивановна Грязнева — наш начальник ЦБЛ. У англичан есть выражение — «the right man on the right place» (подходящий человек для занимаемого им места). Кроме ума и личного обаяния, она обладала весьма ценным для начальника качеством: она умела находить себе помощников, к тому же — помогала им полностью проявлять свои способности.



«Первая смерть» на моем дежурстве... Умирал татарин, родом из Крыма. Собрав последние силы, он приподнялся, подозвал меня и сказал: «Сестра! Вот адрес моей жена... Напышы ей: Моя Зариф! моя дети! Я все время думал о вас... Ты был хороший жена... Жыви счастливый и дети — тоже счастливый... Я думал о вас...» — Это были его последние слова... Я выполнила его волю. Ну и влетело мне за это! Могла ли я знать, что заключенный не имеет право, умирая, попрощаться — хоть в письме — со своей семьей? Если еще раз осмелюсь сообщить о чьей-либо смерти, меня отправят в штрафной лагерь — копать песок.

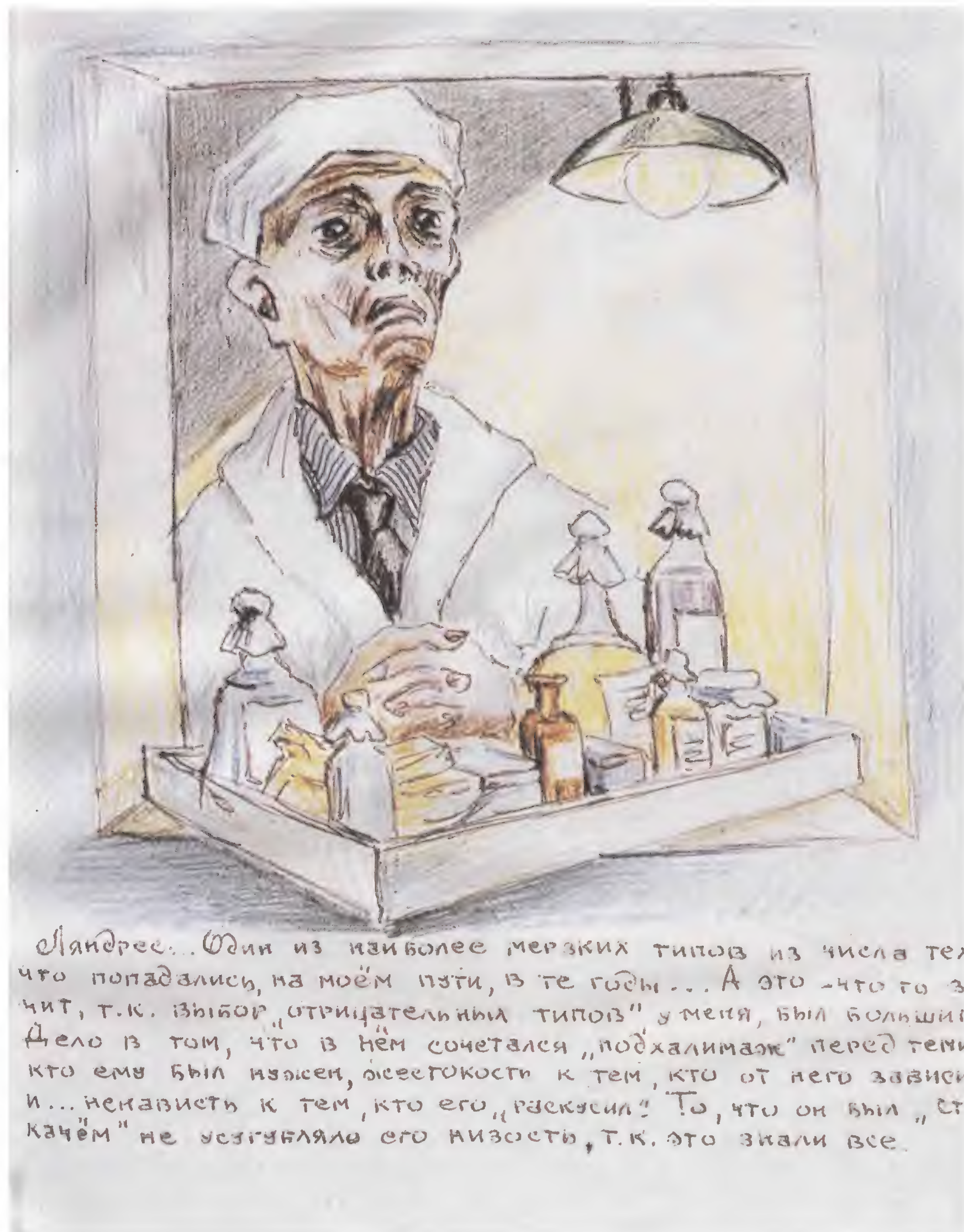


Цена крови... Эти две буханки черного хлеба, три соленые рыбины, полкило масла, полкило сахара и 100 рублей деньгами, которых хватало на 100 писем — 100 писем домой... не мне: нет у меня дома — некому писать!
Это — плата за кровь, за 500 грамм крови, которые я как донор давала каждый раз, когда это было нужно... и не только раз в месяц! В мае 1946 года я дала 3 раза по поллитра. И ни разу не воспользовалась «днем отдыха» после сдачи крови. Больше того: я, все время голодная, я ни разу не воспользовалась донорским пайком: «Я своей кровью не торгую! Бог дал мне силу и здоровье! И то, что я могу спасти погибающего, является для меня достаточной наградой...»
Ох! Как хотелось хоть попробовать масла! Но... Кто раз смалодушничает, поддавшись соблазну, теряет под собой твердую почву, уверенность.



Многие наши больные — бывшие военнопленные, иногда попавшие в плен ранеными, в бессознательном состоянии и перенесшие в концлагерях ужасные лишения, были после освобождения «изменниками Родине» и приговорены по ст. 58^{10} к 10-ти (в дальнейшем 15-ти, 20-ти, а то и 25-ти лет неволи), упорно не желали писать «домой»: «На меня домой в свое время прислали «похоронную». Близкие меня оплакали... Может быть, на детей пенсию выплачивают... Или считают «пропавшим без вести»... Так хотя бы их не преследуют. Зачем им знать, что я жив?»
Я никак не могла этому поверить... Мне казалось, что это так дико! И я уговаривала, уговаривала... И, к сожалению, иногда с успехом... Годы прошли, пока я убедилась, что правы были они... А я, казалось, приобретя на свои, донорские 100 р, марки, думала, что совершаю «доброе дело». До чего я была наивна!

Парадокс! В нашем бесклассовом обществе — удивительно богатый ассортимент классов, каст, сословий: «дворян» и «смердов», «крепостных» и «рабов» и даже — «неприкасаемых»! То же можно сказать и о лагере. Найдется ли свой Энгельс, который объяснит это расслоение с научной точки зрения?



Ляндрес... Один из наиболее мерзких типов из числа тех, кто попадался на моем пути в те годы... А это — что-то значит, т. к. выбор «отрицательных типов» у меня был большим. Дело в том, что в нем сочетались подхалимаж перед теми, кто ему был нужен, жестокость к тем, кто он него зависел и... ненависть к тем, кто его «раскусил». То, что он был «стукачем», не усугубляло его низость, т. к. это знали все.



Моню освободили в 46-м году; срок Маруси лишь начинался ...но... любовь! Моня писал ей записки, и я, работая в морге, приносила их в зону ЦБЛ, где меня на ступеньках лестницы ожидала Маруся. Когда же записки не было, «солдат Северо-Кавказской Армии», топая тяжелыми башмаками, мчалась по коридору, в конце которого находилась ванная. Сидя на краю ванны, Маруся горько рыдала...

ЦБЛ — это оазис. А значит, жизнь. Иногда здесь происходили настоящие любовные драмы...



— Боже мой! Да это же — наша национальная гордость! Это — боксер тяжелого веса, победитель Олимпийских игр 36-го года... Боже мой, во что он превратился! — горестно причитал д-р Мардна, склоняясь над огромным скелетом, туго обтянутым сероватой кожей, лежащим на щите в ванной приемного покоя.
«Тяжеловес» был абсолютно здоров, но... голоден! К счастью, он еще не перешагнул «черту обратимости», и д-р Мардна успел его «восстановить». Сперва — в/в глюкоза, а затем... все объедки, что можно было собрать.



Его оставили, по просьбе д-ра Мардны, кочегаром в больничной котельной, и по «совместительству» он обеспечивал углем кухню... за что получал... ведерную кастрюлю пшенной каши! Да! Без угля кухня не оставалась... Но «высшее начальство» решило использовать его «по специальности», и в скором времени он опять «дошел»: даже самое лучшее питание заключенных — «талон + 3» — не могло обеспечить ему «минимум». Вообще эстонцы, привыкшие к богатой белками пище, умирали от истощения там, где русские легко выживали.



Привлеченная странным звуком, я вошла в палату и поняла все: «Рыжая» — спокойно и обдуманно — убивала своего ребенка... Налив молоко ему в рот, она держала его вниз головой, зажавши рот рукой, и ждала, чтобы он захлебнулся... Одним прыжком я очутилась у ее постели, вырвала из ее рук ребенка, вытряхнула из него молоко и, бросив его на подушку, вцепилась в буйную шевелюру рыжей уркачки...



Боже мой, что тут произошло! Я трепала ее, как терьер — крысу, перепуганные спросонья женщины визжали... Дежурный врач — в эту ночь дежурил Павел Евдокимович — примчался на шум и еще с порога воскликнул, всплеснув руками: «Фрося! Что ты делаешь?!» Я головой указала на посиневшего ребенка: «Она хотела убить его». Павел Евдокимович взмахнул кулаком и сказал: «Всыпь хорошенько».
На этот раз ребенок был спасен, но... ненадолго: недели через две его нашли мертвым...



Хлеборезами были, разумеется, бытовики: начальство им мирволило, «вольнонаемный» комсостав с семьями подкармливался за счет паек заключенных, и, разумеется, они смотрели сквозь пальцы на то, что хлеборезы «ловчили», обильно опрыскивая хлеб водой. И у хлебореза всегда были «излишки», которыми он мог оплатить «любовь» изголодавшейся женщины. Нарядчики, бригадиры, прорабы имели возможность «использовать» женщин, запугивая «этапом», переводом на более тяжелую работу или выписывая им самый низкий паек. Были еще разные «завы» — они же провокаторы-информаторы. Они могли ходить за зону, имели «свои» комнаты и пользовались покровительством начальства.
Имея так или иначе возможность «покупать» любовь женщин, они могли получить впридачу... сифилис. Вот почему в венерологическом отделении был на моей памяти лишь один работяга, политический... да и тот заразился еще на воле. Остальные — «бытовики».



...выстроившись амфитеатром, они демонстрировали пропитанные гноем повязки...

Сифилитики мне глубоко антипатичны, но я переживала, что они страдают. По случаю Октябрьских праздников старшая сестра унесла ключи от шкафа с перевязочным материалом. Как быть?



Однажды мне пришлось заменить Сашу Лещинского на приеме «амбулаторных» сифилитиков, и меня удивило, что все больные, входя, сразу спрашивали: «А... где Саша?» и очень неохотно, и то после повторного приглашения, засучивали рукав или приспускали штаны.
«Должно быть, у Саши и впрямь очень легкая рука! — подумала я.— У всех этих больных не то что затвердения — даже следа от укола нет».
В чем секрет, я поняла, когда возчик, войдя, не раздеваясь, сунул мне десятирублевку и собрался уходить.
— Стой! Ты куда? Спускай штаны: тебе сегодня биохиноль надо!
— Ничего мне твой «киноль» не надо! Я деньги давал!
— Причем тут деньги? Спускай штаны...
— Вай? Какой совесть нету! Я ему 10 рубли давал, а ему мало! Доктор Саша деньги брал. Бумажка писал, колоть — не надо!
Так вот отчего «рука легкая» у Саши?..



Я была очень подавлена: семь лет я на каждом шагу натыкалась на непонимание и несправедливость. Но... Там это было понятно, но здесь? Здесь я всей душой старалась быть полезной таким же обездоленным, как я, и меня за это осуждали... такие же, как я, «репрессированные». Как же это?! Да стоит ли в таком случае жить? На этот раз д-ру Мардне стоило немалого труда убедить меня в том, что именно в морге я буду полезней всего. Убедила меня цитата: «Hei locus est, ubi Mors gaudet se curare Vitae.» («Здесь место, где Смерть радуется тому, что может помочь Жизни»).















Вот оно — самое гостеприимное учреждение города: морг. Двери его для всех всегда открыты! Днем и ночью, летом и зимой...
Может быть, в морге, при парижской Сорбонне эта надпись — метровыми золотыми буквами: «Hei locus est, ubi Mors gaudet se curare Vitae» — импонирует. Но здесь? Впереди — Медвежий ручей; на задах — Конбаза, а рядом — свинарник ДИТРовской столовой и котельная ЦБЛ. Что и говорить! Это — не Сорбонна...



«...Вот вы и в морге! Отсюда — два пути: на волю или... «под Шмитиху!» — говорил Владимир Николаевич, знакомя меня с моей новой работой. Это был очень остроумный и словоохотливый гид — бывший гвардейский офицер Измайловского полка!



Это — жертва картежной игры... Человек... «проигрался» в карты, и, согласно условию, его, скрутив ноги с руками проволокой, раздетого и с затычкой во рту, в матрацнике, вывезли за город и бросили там морозной ночью. Меня удивила жестокость расправы, но еще больше — быстрота, с которой преступники были обнаружены. Следователь по вышитому на майке номеру (для прачечной) узнал имя и профессию пострадавшего. Это был возчик. Второй вопрос: кто из возчиков работал в ночь? Из 435 лошадей после полуночи в конюшне не было 50. (Время узнали от метеостанции: снегопад прекратился в 1 ч. 15 м.; след саней был слегка занесен). Путем опроса установлено: кто из возчиков — картежник? Как велся допрос — не берусь судить, но «партнеры» по игре были выявлены и признались. Впрочем, тут не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо только знать нравы и обычаи «уркачей».

На это вскрытие явился сам прокурор, со всем своим штатом. Дело было серьёзное – надо было решить, что это? Убийство? Несчастный случай? Погибший был – не „зэк", а вольный. Больше того – партийный.... Нашли его в понедельник, в большой сушильной печи, через которую была проложена вагонеточная линия. Он лежал под вагонеткой. Убит ли он вагонеткой? Подложен ли уже мёртвым? Что является причиной смерти? В печи было около 70°С. Труп был страшен: чёрный, как уголь, ужасно распухший – „трупная эмфизема". А запах! Какой то кисло-гнилостный.. Брррр!

Но вот вскрытие окончено. Картина ясна: убийство. Следы борьбы – ссадины, нанесённые ещё живому... и размозжённые, вагонеткой, ткани – уже у мёртвого. Причина смерти: удар тупым орудием по затылку – пролом черепа и кровоизлияние в мозг и т.д. Осталось лишь оформить протокол – минут на пять. И вдруг... Павел Евдокимович схватил, с полки, банку густого формалина и бухнул её в распотрошённый, ещё горячий труп.

Эффект был потрясающий! Если пролить несколько капель разведённого формалина, то все чихают. Можно себе представить, что получилось, когда д-р Никишин вылил пол-литра неразведенного на горячий еще, труп!



Прокурор и вся его свита, чихали, плакали и уткнулись в носовые платки. Я упала на топчан. Слёзы текли – и от формалина и от смеха.



На это вскрытие явился сам прокурор со всем своим штатом. Дело было серьезное — надо было решить, что это? Убийство? Несчастный случай? Погибший был не «зэк», а вольный. Больше того: партийный... Нашли его в понедельник в большой сушильной печи, через которую была проложена вагонеточная линия. Он лежал под вагонеткой. Убит ли он вагонеткой? Подложен ли уже мертвым? Что является причиной смерти? В печи было около 70°С. Труп был страшен: черный как уголь, ужасно распухший — «трупная эмфизема». А запах! Какой-то кисло-гнилостный... Бррр! Но вот вскрытие окончено. Картина ясна: убийство. Следы борьбы — ссадины, нанесенные еще живому... и размозженные вагонеткой ткани — уже у мертвого. Причина смерти: удар тупым орудием по затылку — пролом черепа и кровоизлияние в мозг и т. д. Осталось лишь оформить протокол — минут на пять. И вдруг... Павел Евдокимович схватил с полки банку густого формалина и бухнул ее в распотрошенный, еще горячий труп.
Эффект был потрясающий! Если пролить несколько капель разведенного формалина, то все чихают. Можно себе представить, что получилось, когда д-р Никишин вылил пол-литра неразведенного на горячий еще труп! Прокурор и вся его свита чихали, плакали и уткнулись в носовые платки. Я упала на топчан. Слезы текли — и от формалина, и от смеха. Павел Евдокимович тоже чихал, повторяя: «Какой же я дурак...» Наконец прокурор сказал: «Вы — привычны, а нам — тяжеловато...» — и все они поспешили покинуть «гостеприимное учреждение».



В морг ворвалась женщина, дико вопя: «Я убила свою дочку, я задавила своего ребенка!» На вытянутых руках — мертвая девочка, месяцев 9—10. На вопрос д-ра Никишина она объяснила: «Наша комната 11 м. На столе — старики, дед с бабкой. Под столом — моя сестра. В углу, возле шкафа, — квартирант с женой и ребенком. Мы с мужем — на кровати. Двое детишек — в ногах, а малышка — возле меня...»
Никишин связался по телефону с прокурором, и тот велел ему сходить проверить на месте.
Вернувшись, Павел Евдокимович на мой вопрос лишь руками развел: «Знаешь, Фросенька, меня удивляет лишь, как это бабушка не задавила дедушку, как еще не задавлен квартирант с семьей... и как это все они не передавили друг друга?»
Женщина в смерти ребенка была признана невиновной.



До войны заключенных хоронили в кое-как сколоченных гробах; в военные годы количество «жмуриков» возросло до такой степени, что... был изобретен т. н. «катафалк» — ящик на колесах, куда складывали «валетом» голые трупы.
«Ирония судьбы»: мастер, изобретший этот «катафалк», скоропостижно скончался и попал в один из первых рейсов.
В 47-м году опять начали возить покойников в гробах... из которых их, впрочем, вываливали в общие могилы.





...он замахнулся для удара; я шагнула вперед, подставив нож.

Доктор Миллер, который всем ставил только один диагноз — «алиментарная дистрофия», не смог снести конфуза:
— Молчать! Делай свое дело!
— Я свое дело знаю, чего о вас не скажешь.
В гневе он бросился на меня...





Врач был мертвенно бледен и очень растерян с виду. Но... Извини меня, мой брат — прозектор! Ты оказался человеком. И притом Человеком с большой буквы!
По мере того, как он мне диктовал, картина прояснялась и не оставалось сомнения, что это было убийство. Убийство выстрелами в упор. Головы, разбитые прикладами... Грудная клетка, проломанная «тупым предметом»... Обожженные выстрелами лица.
— Гад! Фашист! — хрипел старшина, грозя кулаком,— твое место — там, в этой куче!
Слабое подобие улыбки тронуло бескровные губы врача.
— Знаю! Но вскрытие, пожалуй, сделаю не я...
Ты пристыдил меня, бесстрашный ученик Гиппократа! Ты знал, что тебе с клеймом 58-й статьи пощады не будет... Не тот храбр, кто не боится, а тот, кто, боясь, не гнется...

Валя, работавшая то дневальной, то вахтёршей. Это была уголовница-рецидивистка-разудалая девка, из породы „оторви и выбрось" (сокращённо-„оторва"), но, в общем, девка неплохая,- весёлая, добрая, очень чистоплотная ... но матерщинница -„что надо"!..

„...по обыкновению, не постучав, Крамаренко рванулся в дверь и..."



Дежурила она ночью - вахтёршей, на лестнице.

-„Я его проучу" - сказала она -„вот увидите: перестанет врываться, как татарин!"

И вот, однажды, когда мимо окна мелькнула фигур
Крамаренко, устремившегося в сенях, откуда был вхо

...по обыкновению не постучав, Крамаренко рванулся в дверь, и...

ЦБЛ перестала быть для меня «оазисом». Со всех сторон запахло тюрьмой. Начались ежедневные проверки, абсолютно нелепые и бессмысленные, имеющие одну цель — напомнить, что ты не человек...
Вохровец Крамаренко врывался неожиданно и наслаждался смятением женщин, застигнутых в полураздетом виде. Но на самом темном, унылом фоне может вспыхнуть искорка смеха, и тогда наступает разрядка...
...Больше без стука он не входил.



Умереть? Это не так уж сложно... если выхода, действительно, нет. Перерезать артерию на запястьи. Чем? У меня есть бритва. Где? Есть ли более удобное место, чем кабина с ванной в котельной: шум машины, шум воды... Никто не помешает. Когда? Ну, это решено: когда мне скажут, что впереди - шахта. Это - решено. А я решенья не меняю.

Умереть? Это не так уж сложно... если выхода действительно нет. Перерезать артерию на запястье. Чем? У меня есть бритва. Где? Есть ли более удобное место, чем кабина с ванной в котельной: шум машины, шум воды... Никто не помешает. Когда? Ну, это решено: когда мне скажут, что впереди — шахта. Это решено. А я решения не меняю.

В ЦБЛ я поступала так, как велит совесть. Но при всех, самых благоприятных условиях, меня преследовали лишь одни неудачи. Еще с самого начала мне сказали, что из морга — два выхода: на волю и «под Шмитиху», то есть на кладбище...



«Керсновская, сейчас подойдет к вахте машина! Через полчаса!» Это — голос нарядчика Белкина. С тем же успехом это мог быть... глас трубы Архангела. Только та извещает «воскрешение из мертвых». А здесь... наоборот. Пора! И я, зажав в кулаке бритву, ринулась и... на пороге угодила головой в чей-то живот. От слабости (я 11 дней голодала) или от неожиданности, но у меня в глазах потемнело. Когда ко мне вернулась способность соображать, я услышала голос Дмоховского: «...Что я слышу? Неужели это правда? Вы нас покидаете? Павел Евдокимович, бедняга, сам не свой! Места себе не находит!» Так говоря, он оттеснил меня обратно.



И вот Белкин вновь в дверях: «Евфросиния Антоновна — на вахту!» В голове у меня шумело, я ничего не понимала, Дмоховский по обыкновению балагурил, шутил... Он меня проводил до машины, поднял мой пустой чемодан, помог влезть в кузов грузовика.
В лицо пахнул весенний ветер, яркое солнце слепило глаза, и голова кружилась. Машина подскакивала на ухабах. Прошлое... уходило все дальше. А что впереди? Я повернулась лицом в «Угольному». Признаться, все эти дни, мысли мои не шли дальше кабины в котельной. А теперь? Теперь мой путь — к шахте... Вот не ожидала! Однако... Почему бы не попробовать, что она из себя представляет, эта шахта?
«Будет буря — мы поспорим
И помужествуем с ней!»
Еще одна страница перевернута. Что будет на следующей?

ЛАГПУНКТ „НАГОРНЫЙ"





Лагпункт «Нагорный».
Сил хватило едва до первого столба...

На вахте меня высадили и, почти без формальностей, отправили в 8-й барак, где жили «лорды» (работающие в городе) и «мамки» (беременные женщины). Я подхватила свой багаж и, превозмогая головокружение и тошноту, побрела в барак. В глазах потемнело от слабости...



Первое, что я увидела, войдя в 8-й барак, была душераздирающая сцена: молодая мать — почти девочка — билась в руках солдата, умоляя: «Дайте покормить его в последний раз! В последний раз!» А дряхлая старушонка поспешно семенила прочь, унося маленького ребенка, завернутого в одеяльце. Присутствующие при этой сцене «мамки»... ей завидовали: «Счастье, что у тебя есть бабушка... А мы?»
Этот ребенок еще «с воли»: мать только начала «разматывать» свою катушку — 10 лет...



Вернувшись с работы, я убедилась, что мне опять-таки не дали хлеба... Почему? Я не знала, что из ЦБЛ не прислали моего «аттестата», по которому выписывают питание: они были уверены, что меня как «больную» вернут в ЦБЛ. Но они не учли моего упрямства: я работала, питаясь остатками баланды, которую не съедали «мамки»...
И вот я пошла, чтобы выяснить у нарядчика: где же мой хлеб? Я не знала, что в это время идет поверка и... нарвалась на начальника режима... Он обложил меня отборной бранью. Я его попросила не браниться. Он меня отправил в ШИЗО, где меня сразу заставили работать: очистить с территории ШИЗО накопившиеся за зиму нечистоты...
Итак, вместо хлеба и отдыха мне достались кайло, лопата и гора замерзших нечистот...

Я мыла, скребла... а по рукам, изъеденным известью, текла кровь.

Ночью отдыхать мне не довелось: всех женщин из ШИЗО погнали мыть пол в казарму ВОХРы. «Жучки» были рады.
Я и не догадывалась, что мытье полов — только предлог для этих проституток...
Когда я кончила мыть полы, пришли «жучки», на ходу пережевывая какое-то угощение... Из ШИЗО нас снова отправили на работу — на кладбище. Зарывать могилы.

«...я вас потрошила — и я вас похороню... Простите, братья мои! Это — чистая случайность, что я еще не с вами!»

— Так вот как пришлось нам встретиться!..
...Мне с напарницей нужно было зарыть 200 «жмуриков», залитых мутной водой.

Нам дали «на урок» закопать одну братскую могилу. Моя напарница — «кобел», по прозванию Ваня — была неплохая девка, принялась за дело старательно. Т. о. мы с Ваней управились задолго до конца рабочего дня. Можно разогнуть спину и отдохнуть. Ваня уселась на могильный холм; я — счищала грязь с сапог.
— Эй! Что там расселась? Давай, работай! — услышала я окрик конвоира.
— Вы нам «на урок» дали. Мы свой «урок» выполнили.
— А-атставить ррразговоры! Кому сказал? Ррработай,— за этим — глухой звук удара и плачущий голос: «Мы свой «урок» окончили»,— и снова удары. Ваня заплакала, закрыв голову руками. Конвоир озверел: удары посыпались, с каждым разом сильней. При виде этого избиения девчонки я потеряла над собой контроль. Я подскочила, схватила обеими руками винтовку, рванула, и... она очутилась в моих руках...

«Кобел» — это мужская половина у лесбиянок. Если в природе, у высших существ, мужская особь — крупнее и сильнее женской, то лагерные «коблы» скорее напоминают мужские особи низшего порядка — как у пауков или червей: они, по сравнению с «самкой», мельче, хрупче.

Я сразу же протянула ему винтовку и отступила шага на 3-4. Шелкнул затвор. Он прицелился. Черный глазок дула чуть не касался меня. Через прорезь я видела человеческий глаз. И в нем была Смерть. Тишина. В такой ситуации, мне кажется, никто не думает. Но какая-то мысль успела мелькнуть: «Не дрогни! Сохрани достоинство!» Но вот дуло взвилось, а приклад стукнул о землю.
— Счастье твое,— медленно и тихо сказал конвоир,— что я давеча видел, как ты окровавленными руками пол у нас в казарме мыла.
Не знаю, как это получается, что все «неудачи» оборачиваются мне во спасение? И опять вспомнился возчик Кравченко — там, на Оби: «Крепко за тебя кто-то молится, Фрося!» Наверное, крепко...



Конвоиры – обычно это были уголовники, досрочно освобождённые и еще неосвобождённые – всегда рады были поиздеваться над „бандеровками“. А предлог? Это найти легче лёгкого. Например женщины разговаривают, а поэтому, выбрав самую глубокую грязь и...„ложись“! И все – плюх в грязь! Женщины пытаются кто – на колени, кто – на четвеньки, кто – на корточки... Так нет же – „Ложись!“ А грязь – угольная крошка, вода.... Это издевательство меня взорвало, и я осталась стоять. „Ложись!“ взревел конвоир „стрелять буду!“ и он рванул винтовку.“ Что-то измазанное грязью, ринулось, заслоняя меня собой. Это была худенькая, слабенькая – в чём душа держится – „Не смеешь её убивать, не смеешь!“
Всем было ясно, что я не лягу... Вернее лягу, когда пуля уложит. Одна за другой стали вставать из грязи женщины. И видно было, что вторично они не лягут. Конвоир это понял...

Конвоиры — обычно это были уголовники, досрочно освобожденные и еще неосвобожденные,— всегда рады были поиздеваться над «бандеровками». Предлог? Это найти легче легкого. Например, женщины разговаривают, а поэтому, выбрав самую глубокую грязь — и... «ложись».
И все — плюх в грязь! Женщины пытаются кто — на колени, кто — на четвереньки, кто — на корточки... Так нет же: «Ложись!» А грязь — угольная крошка, вода... Это издевательство меня взорвало, и я осталась стоять.
«Ложись!» — взревел конвоир,— стрелять буду!» — и он рванул винтовку...
Что-то измазанное грязью ринулось, заслоняя меня собой. Это была худенькая, слабенькая — в чем душа держится: «Не смеешь ее убивать, не смеешь!»
Всем было ясно, что я не лягу... Вернее, лягу, когда пуля уложит. Одна за другой стали вставать из грязи женщины. И видно было, что вторично они не лягут. Конвоир это понял...

...Через несколько дней — на том же кладбище, «под Шмитихой», конвоир застрелил цыганку. Звали ее... Фрося.

ярлык, на чистое, но чуждое нам понятие, мы оправдываем все наши трусливые и малодушные поступки. В моем распоряжении, часа 2 свободного времени, в общении со свободной природой.
Сколько лет я была лишена этой возможности!

„... Я не лишу тебя счастья, птичка!“



Бедная, очень бедная природа. Особенно здесь, на высоте, метров на 500-600, над уровнем тундры. Ещё недели две тому назад, здесь кружилась метель. И теперь, в расщелинах, лежит снег – серый, ноздреватый. Но здесь, где все 24 часа светит солнце – пусть малокровное, но не знающее отдыха, трава уже выискала и в ней – мелкие, невзрачные цветочки. Здесь нет земли. Какое-то крошево, из камней... а трава растёт! А на голых камнях – лишайники! Жизнь! И – нетолько растительная. Вот, например, эта птичка – маленькая, беленькая. Это – пуночка. Отчего ты не летишь вниз, где теплее? Ах!

«...я не лишу тебя счастья, птичка!»

На душе было спокойно: какое это счастье — прислушиваться только к голосу своей совести и подчиняться только ее приказаниям!..
Лежу на нагретых солнцем камнях. Какое блаженство — дышать чистым воздухом и не видеть ни решеток, ни колючей проволоки! Но почему так тревожно мечется эта птичка? А! Здесь у нее гнездо... Я встала и отошла в сторону.











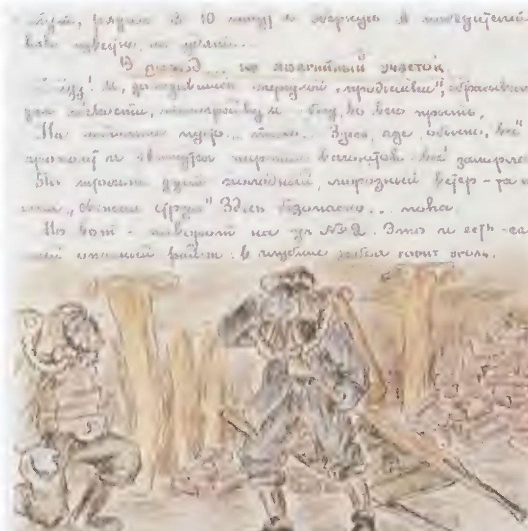




















Сережку Казакова завалило в бункере пустой породой. Он был еще жив, но порода над ним зависала и могла ежеминутно рухнуть. Мы с Машкой растерялись. Откуда ни возьмись — Байдин. В несколько минут мы отгрузили 3 вагона породы, Байдин нырнул в печку, ухватил парня за челюсть и стал тащить... а мы с Машкой ухватились за непомерно длинные ноги и вытащили их обоих. И сразу же порода рухнула...

Та самая шахта, которая в моем представлении до этого годилась лишь на то, чтобы облегчить решение умереть, оказалась тем светлым маяком, который светил мне в самой кромешной тьме. Шахтерский закон — о равенстве всех под землей — был, как бальзам на мою израненную душу...

Моим начальником был «вольняшка» Иван Михайлович Байдин, про которого говорили: «С Байдиным — не страшно! Байдин из любой беды выручит!..

Позже Байдин выручит и меня. Это произойдет после истории, начало которой было в самый холодный день в ту зиму...



Конвоиру было досадно, что пришлось остановиться и ждать девчат одиннадцатой шахты, опоздавших на вахту, и, срывая свою злость, он ударил меня, стоявшую по обыкновению с краю, ногой в зад. Я обернулась и сказала: «Ну и дурак!» Разъяренный конвоир замахнулся, чтобы ударить меня прикладом. Может быть, я и не была чемпионом рукопашного боя и просто меховые рукавицы «малявки» задубели, но, когда я увернулась от удара и подставила руку, то винтовка выскользнула из его рук и улетела в сугроб. На вахте конвоир сказал, будто я вырвала у него из рук винтовку. Дежурный потребовал, чтобы я написала объяснение (пустая формальность, для того чтобы посадить в ШИЗО). Я отказалась, сказав: объясняться буду перед начальником. «Дежурнячка» повела меня в ШИЗО и, встретив начальника режима, лейтенанта Полетаева, сказала. «Веду в ШИЗО. Отказалась писать объяснение. Такая гордая!» — «Гордость мы собьем!» — и Полетаев дал мне пощечину... которую я ему моментально вернула. Эту сцену видели пятеро женщин, в том числе моя напарница, Сагандыкова.



«Дежурнячке» не улыбалась перспектива быть соучастницей убийства, и она, открыв дверь ножом, кинулась к Полетаеву...

Уж тут, в ШИЗО, Полетаев рассчитался со мной за пощечину! Он буквально взбесился и стал избивать меня табуреткой. Если б не «дежурная» — он бы убил меня...
Избитую и раздетую до рубахи, меня посадили в «холодную». В тот день — 8 февраля 1948 года — было −54°!



Я сделала несколько шагов и привалилась к стене...

Сквозь незастекленное окошко «холодной» намело целый сугроб снега. Боже! До чего же холодно!.. Но я знала, что в зоне меня — шахтера — никто не смел без основания ни убить, ни заморозить насмерть... Чтобы расправиться со мной, надо вывести меня из зоны, а там — пристрелить «при попытке к бегству».



Меня тащили через всю зону. Я молча, но отчаянно сопротивлялась. Начальник режима говорит: «Это — злостная отказница. К тому же — членовредитель: она обязательно должна пойти на работу в Песчаный карьер. Обязательно!» Один из конвоиров бьет меня прикладом меж лопаток.
Раз... Другой... На третий — умышленно или нет — он ударяет по затылку... Боли я не почувствовала. Кругом все озарилось будто Вольтовой дугой.
И я лечу.
Кто-то меня поднимает, сажает в снег. Где я? И девчат уже нет... Я с трудом встаю. Бреду, шатаясь, сама не знаю куда. «Керсновская! К начальнику!»
К начальнику? Да, к начальнику я пойду.



Дверь с шумом распахнулась, на пороге появился работник УРЧ. Бабкин-дурачок, но... брат прокурора. Глаза его лезли на лоб:
— Только что звонили с шахты 13/15... Сюда едет Байдин... И с ним — парторг!..
Тут Бабкин споткнулся и растянулся во весь рост. Байдин? Ну, разумеется, Байдин... Байдин в беде не покинет! Это я и сама видела тогда, когда он полез в бункер за Казаковым.
И вот Байдин уже на нашей вахте... Байдин приближается — я слышу его шаги и его голос: «Стахановцы у нас лучшие люди; Керсновская — лучшая из наших стахановцев; что вы сделали с Керсновской?!»





«Что вы сделали с Керсновской»? Вопрос чисто риторический: избитая Керсновская едва на ногах стояла, и Байдин прежде всего подал мне стул. Полетаев начал: «...она обматерила конвоира...»
— Что?! Она? Обматерила? Да вы шутите! Не то чтобы она, а в ее присутствии шахтеры не матерятся. Антоновна, расскажи, в чем дело?
И я рассказала. А парторг записывал. Когда я закончила, он встал.
— В чем ее вина? В том, что она назвала конвоира «дураком». Что он — дурак, явствует из его поведения. А что с ней сделали? Ее, не выслушав, не расспросив свидетелей, не дав ей поесть после целого дня работы, не получив санкции врача, повели в ШИЗО... А за что начальник режима дал ей пощечину? Чтобы «сбить гордость»? Гордость — чистое, облагораживающее чувство. Керсновская имела полное право на гордость. Совсем недавно она проявила мужество и находчивость, сумев предотвратить аварию и спасти жизнь трем своим товарищам. Кто дал право т. Полетаеву сбивать эту гордость пощечиной? Керсновская реагировала молниеносно... как и тогда, когда, рискуя жизнью, кинулась наперерез вагонам и перевела стрелку, чем и спасла своих товарищей.
А теперь взгляните, что с ней сделали? И является ли «воспитательной» мерой содержание избитой, уже немолодой женщины в «холодной» при −54°? К тому же раздетой? А что кроется за намерением отправить эту женщину в таком состоянии на работу в Песчаный карьер, работа в котором является тяжелым наказанием для здоровых нарушителей режима?
Начальник лагеря, Амосов, был как в воду опущенный. После речи парторга он предложил мне «отдыхать».
Я поблагодарила Байдина и парторга. Короткий поклон в сторону Амосова, взгляд, полный презрения... и я ушла.





Сколько раз впоследствии мне случалось видеть на вахте «Угольного оцепления» этого самого Полетаева — уже не лейтенанта, а просто сержанта, проверяющего «щупом» машины, груженные углем!
Как всегда, я шла в первой пятерке — крайней, слева, и пока наша бригадирша, Кулинич, уточняла состав бригады, я с презрением посматривала через плечо на своего «поверженного врага». И все же меня удивляло, как это его «разжаловали». Лишь при Хрущеве, после чтения его «письма» на съезде, я поняла, в чем дело: множество офицеров МВД были вовсе не офицеры. Вернее, были они — совсем «липа».



Трудно представить себе что-нибудь более нелепое, чем эта пожи-
лая эстонка-осланцовщица, в шахте! Сидя на ведре с инертной пылью
она читала, при свете аккумуляторной лампочки, невесть откуда раздо-
бытую книги. Больная, всем чужая (ни одной эстонки в лагере!), вечно
в слезах... На неё сыпалися несчастья, одно за другим. Ея дочь -
18ти лет тоже попала в лагерь где-то на Урале... где и пропала, без ве-
сти; ея сын, 16ти лет, умер от туберкулёза. Ея мать - 83х лет, упала и
переломала себе бедро. Работать она не могла: туберкулёзный плек-
сит. Мне её было бесконечно жаль! И я захотела вызволить её
из шахты. Врач Татьяна Григорьевна могла её устроить медстатистом в
поликлинике, но... Как получить разрешение уйти из шахты? Шахта
держит цепко... Как могила. - „Пусть найдёт желающую пойти на
шахту, взамен", сказал начальник. Но кто, из „городских" пойдёт в
шахту? И всё же я нашла... Превозмогая усталость, после работы
я слонялась по баракам, в поисках „замены". Ею оказалась „жучка",
любовник которой был, на шахте, движенцем. Таким образом, Льви-
на Юхановна была избавлена от мученья, а может быть ...и смерти.
Ох! И отблагодарила она меня.....

Трудно представить себе что-нибудь более нелепое, чем эта пожилая эстонка — осланцовщица в шахте! Сидя на ведре с инертной пылью, она читала при свете аккумуляторной лампочки невесть откуда раздобытую книгу. Больная, всем чужая (ни одной эстонки в лагере!), вечно в слезах... На нее сыпались несчастья, одно за другим. Ее дочь в 18 лет тоже попала в лагерь где-то на Урале... где и пропала без вести; ее сын в 16 лет умер от туберкулеза. Ее мать — 83-х лет, упала и переломала себе бедро. Работать она не могла: туберкулезный плексит. Мне ее было бесконечно жаль! И я захотела вызволить ее из шахты. Врач Татьяна Григорьевна могла ее устроить медстатистом в поликлинике, но... как получить разрешение уйти из шахты? Шахта держит цепко... как могила. «Пусть найдет желающую пойти на шахту взамен»,— сказал начальник. Но кто из «городских» пойдет в шахту? И все же я нашла... Превозмогая усталость, после работы я слонялась по баракам в поисках замены. Ею оказалась «жучка», любовник которой был на шахте движенцем. Таким образом Львина Юхановна была избавлена от мученья, а может быть... и смерти. Ох! И отблагодарила она меня...



«...сейчас я сделаю то, за что я себя ненавижу и презираю...»



В забой, где я работала, вихрем влетел мастер вентиляции.
— Бросай все и беги на-гора: в шахте пожар!
Пожар — это всегда страшно. А в шахте, где продуктам сгорания некуда деваться, где могут взорваться метан или пыль? Это — смерть... Но... от судьбы не уйдешь... А как подумаешь, что сейчас происходит на устьи шахты... Нет! Спешить не имеет смысла.
Я ничего не «бросила» и никуда не бежала. Я взяла свое сверло и пошла на-гора. Больше того: я вернулась, чтобы выключить трансформаторы нашего участка и соседнего — того, где имел место пожар. И то, дойдя до устья, пришлось ждать, т. к. там была толкучка.



Очнулась я на откаточной штольне, куда я скатилась по трапу. Синяков я себе наколотила немало, но это путешествие вверх ногами спасло мне жизнь. Меня подобрали начальник участка № 6 Соломенко и горный мастер Илюша Сухарев, и я заплетающимися ногами, натыкаясь на стойки поплелась на-гора, провожаемая шутками шахтеров.



Я знала, что СО — угарный газ — коварный газ и на себе испытала его коварство; знала, что большинство людей, пытающихся спасти угоревшего, погибают сами, но бросить Пожевилова не могла. Ох! Какой он был тяжелый! Я пятилась, упираясь каблуками, падала и снова волочила его. Последние метры я не могу восстановить в памяти. Помню только, что под ногами хрустел лед: значит, мы на штольне. Жизнь! Очнулась я лежа ничком, рядом с Пожевиловым. Лед холодил лицо. Я кое-как встала и собралась делать Пожевилову искусственное дыхание, но он уже приходил в себя. Я его посадила к борту, сунула в рот «загубник» и приоткрыла посильней кнопку Байпаса. Он был вне опасности, а меня могли хватиться. Подхватив свои «козочки», я поспешила на заплетающихся ногах.

Об этом случае я умолчала: неудобно было конфузить специалиста по газам! Но, оказывается, он меня узнал, и через 4 года, когда он нам, горным мастерам, читал лекцию о шахтных газах, он сам сказал: «СО — коварный газ, и если бы не здесь присутствующая Керсновская — не я читал бы вам эту лекцию!»



Пока Сидоркин с лесогонами подносил крепежный лес, я из своего забоя притащила весь свой инструмент и даже «взяла приямок» в самом опасном месте.

Не думала я, что это будет моей «лебединой песней» на шахте! Но шахта напомнила о себе и в 7-м л/о. В том году впервые отмечался «день шахтера». Отмечался он торжественно. На каждом участке отмечали шахтера наиболее заслуженного. От 8-го участка выступил Сидоркин: «Наибольшая заслуга на нашем участке у шахтера, которого среди нас нет. Это — Керсновская», и он рассказал о том, как была предотвращена крупная авария.

Поздней осенью, как-то ночью, меня вызвали в «штаб» 7-го л/о. Обычно такой вызов ничего хорошего не сулит. И я оделась потеплее. Так встретилась я первый (но не в последний) раз с Кирпиченко — зам. нач. 7-го л/о, который возненавидел меня «с первого взгляда». Шахта меня вспомнила. Мне прислали благодарность и премию — 100 р.

Благодарность, впрочем, он отобрал, а премию вообще не дал. Но разве это важно? Моя шахта помнит меня...

ВЕК ЖИВИ — ВЕК УЧИСЬ!

В этом году зима 1951/52 года была деже для Норильска небывало холодная. Морозы доходили (считая с ветром) до −74°. Свинец от удара рассыпался порошком, а железнодорожные рельсы. разрывались от мороза, и «дефекты» доходили до 35—40 см
В нашу обязанность входило заменять разорванные рельсы Вот это была «работешка»! От станции «Амбарной» до «Зуб-Горы» — это наш участок — 5 км. Случалось, что по 3 раза приходилось второпях сгружать рельсы, сбрасывать под откос скаты перед надвигающимся составом, а затем подымать скаты и грузить рельсы. А забивать костыли в промерзшую шпалу?

Для меня изгнание из шахты было тяжелым ударом. Из-под ног ускальзывал последний клочок «твердой почвы». Значит — опять ощущение трясины, готовой вот-вот сомкнуться над головой, и опять уверенность в том, что никто не услышит твоего призыва о помощи.
Седьмое лаготделение пользовалось дурной славой...





...и такое бывает...

У «жучек» в ходу присказка: «Давай пайку — и делай ляльку». Из нужника именно они сделали «случный пункт»... Груда замерзших экскрементов вокруг «очков» не мешала кавалеру сперва угостить свою избранницу каким-либо лакомством, а затем...



Наш рабочий день кончался по гудку ТЭЦа. Я не опоздала: гудок еще гудел, когда я переступила порог «обогревалки». Вся смена была уже там. Может быть, уже давно. Я не могла бросить свою работу: я подтягивала гайки на «накладках». Их ставили в сильный мороз, и теперь они ослабли. Бригадир, может быть, рассчитывал уйти раньше. Он решил «сорвать зло» на мне и бросил мне грязное оскорбление: «Что? Никак с... не расстанешься?..». Моя реакция была обычная: кулак, по-прежнему шахтерский, и «фара» на глазу «вольного» бригадира получилась эффектная.
В драку он не полез. Может быть, оттого, что в моей руке была железная «лапа». А может, конвоир не позволил.



На вахте меня не взяли. Я вообразила, что... бригадиру стало стыдно своего хамства. Все было проще: он дождался, чтобы начальник лагеря, капитан Блох, порядочный человек, ушел и заступил на его место Кирпиченко — известный зверь. Я это поняла, когда меня вызвали в «штаб». Я знала, что меня ждет "холодная" (а мою одежду дневальная унесла в сушилку), но то, что на меня накинулись и скрутили за спиной руки наручниками — это был сюрприз! К тому же наручники были особые: с "собачкой", которая при малейшем движении защелкивалась еще сильней. Это причиняло адскую боль!
Врач — маленькая, запуганная еврейка из Одессы, осужденная за то, что «ее немцы не расстреляли», отказалась подписать санкцию на ШИЗО: я раздета и в наручниках. Кирпиченко разъярился, ринулся, замахнувшись на нее кулаком, и заорал: «Как ты смеешь, фашистская подстилка, рассуждать!» Тут вмешалась я: «Вера Семеновна, подпишите: вы же видите, с кем имеете дело...»
Когда сняли наручники, из-под ногтей сочилась кровь, я потеряла сознание. Правая рука была парализована.



Меня поместили в одиночку, и я сразу потребовала прокурора. Меня изувечили, даже не выслушав меня. Я не сопротивлялась. Зачем было одевать наручники? Да еще с таким дьявольским усовершенствованием? Если руки скручены за спиной, то с такой «собачкой» это ведет неизбежно к увечью. Я потребовала прокурора и в знак протеста объявила голодовку: как только мне приносили мою пайку или баланду, все это моментально отправлялось в парашу. Уже на 4-й день мне стало совсем плохо. Сказалось, должно быть, то, что меня очень угнетало,— то, что обе руки, особенно правая, были парализованы. Левая рука, хоть и слабо, но двигалась, а кисть правой была как из ваты. Забегая вперед, укажу на то, что функция руки через неделю восстановилась, но чувствительность — болевая и тактильная — восстановилась лишь через год.



Каждую ночь «дежурняки» вызывали меня в дежурку и оставляли «en tête-a-tête» с тарелкой баранины, тушенной с чесноком, обильно политой жирной подливкой, а к ней — румяная франзоль. Признаюсь, я бы съела гнилые отруби или протухшую свеклу. Испытание было нелегким, но... я знала, что не сдамся. Знал это и Кирпиченко. И он явился сам, чтобы уломать меня: «Чего ты добиваешься, Керсновская? Если мы сочтем нужным, то тебя будут кормить насильно.» — «Насилье — ваше оружие» — «...или ты умрешь».— «Возможно! Это тоже в вашей власти».— «Ты хочешь прокурора? Я тебе дам бумагу. Пиши! Даже если это будет жалоба на меня, я передам!» — «А это и будет жалоба на вас...» Он дал мне бумагу, и я с трудом написала левой рукой жалобу на Кирпиченко. Но еду я все равно не приняла. Впрочем, Кирпиченко моей жалобы не передал. Больше того: он скрыл все от начальника лагеря.



Странное происшествие! Дверь вдруг распахнулась. В мою камеру втолкнули девушку. Рухнув головой на койку, она, рыдая, причитала: «За что издеваются? С детских лет — одно страдание! Мать моя — англичанка... Отца посадили в 37-м... Говорят: мать уехала за границу... Врут, палачи! Наверное, и ее убили, гады... Мне 11 лет было... Меня-то за что бросили в колонию... Я не отвечаю за родителей! Но я не стыжусь их... О! Это были такие благородные люди!..»
И она билась головой о койку. Меня тронуло горе этой женщины, и я наклонилась, чтобы ее поднять, утешить. И вдруг... Вдруг я услышала шопот. Ее шопот. Тихий, но ясный: «Не верь мне: я — наседка!» Что это?
Я отпрянула... Слуховая галлюцинация? Потустороннее предупреждение?
А девушка продолжала: «...но ...не вечно будет жить тиран?! Ведь наступит освобождение?» Но слова «...не верь: я — наседка...» воздвигли между нами барьер.
— Сядь, успокойся! Если совесть чиста, то все «устроится».
На следующий день ее вызвали.
Больше я ее не видела.

Странное происшествие! Дверь вдруг распахнулась, в мою камеру втолкнули девушку. Рыдая, она зпричитала:
— За что издеваются? С детских лет — одно страдание! Мать моя — англичанка... Отец — поляк... Его посадили в тридцать седьмом... Говорят: мать уехала за границу. Врут, палачи! Наверное, и ее убили, гады!.. — Она стала биться головой о нары.
Меня тронуло горе этой девушки, и я стала ее утешать. Вдруг я услышала ее тихий, но ясный шепот... Что это? Слуховая галлюцинация?..
На следующий день ее вызвали, и больше я ее не видела.



Так выглядела чуть не в самом центре города БАЗА ППТ, т. е. база продовольственных и промышленных товаров.

Я голодала в знак протеста уже неделю, как вдруг меня вызвали к начальнику лагеря Блоху. Я слышала о нем, как о человеке гуманном...
— Где бы вы хотели работать?
— Грузчиком на продуктово-товарной базе...
— Но это — самая тяжелая физическая работа!
— Никакая работа меня не испугает! Зато так можно заработать «зачеты». А это мне и нужно!
— Пусть будет по-вашему! Я отдам соответствующий приказ.



Зато это была не работа, а... мечта! Колбасы... Целый сарай бочек, в которых доставляли на Крайний Север колбасы, залитые салом. Надо было вынуть дно, опрокинуть на низкий стол содержимое и, покуда женщины очищали колбасы от сала, «затаривать» бочки, наполненные уже очищенной колбасой Затем соштабелевать бочки в три яруса. Сало — в другие бочки.
Тут пригодилось мне знание, приобретенное у Хайма Исаковича в первом моем лагере «Межаниновка».
Чтобы справиться с огромной нормой, нужно было нечеловеческое напряжение, но ...зато можно было поесть досыта колбасы! Пусть один день в 3 месяца, но быть сытым! Боже мой! Какое это блаженство!

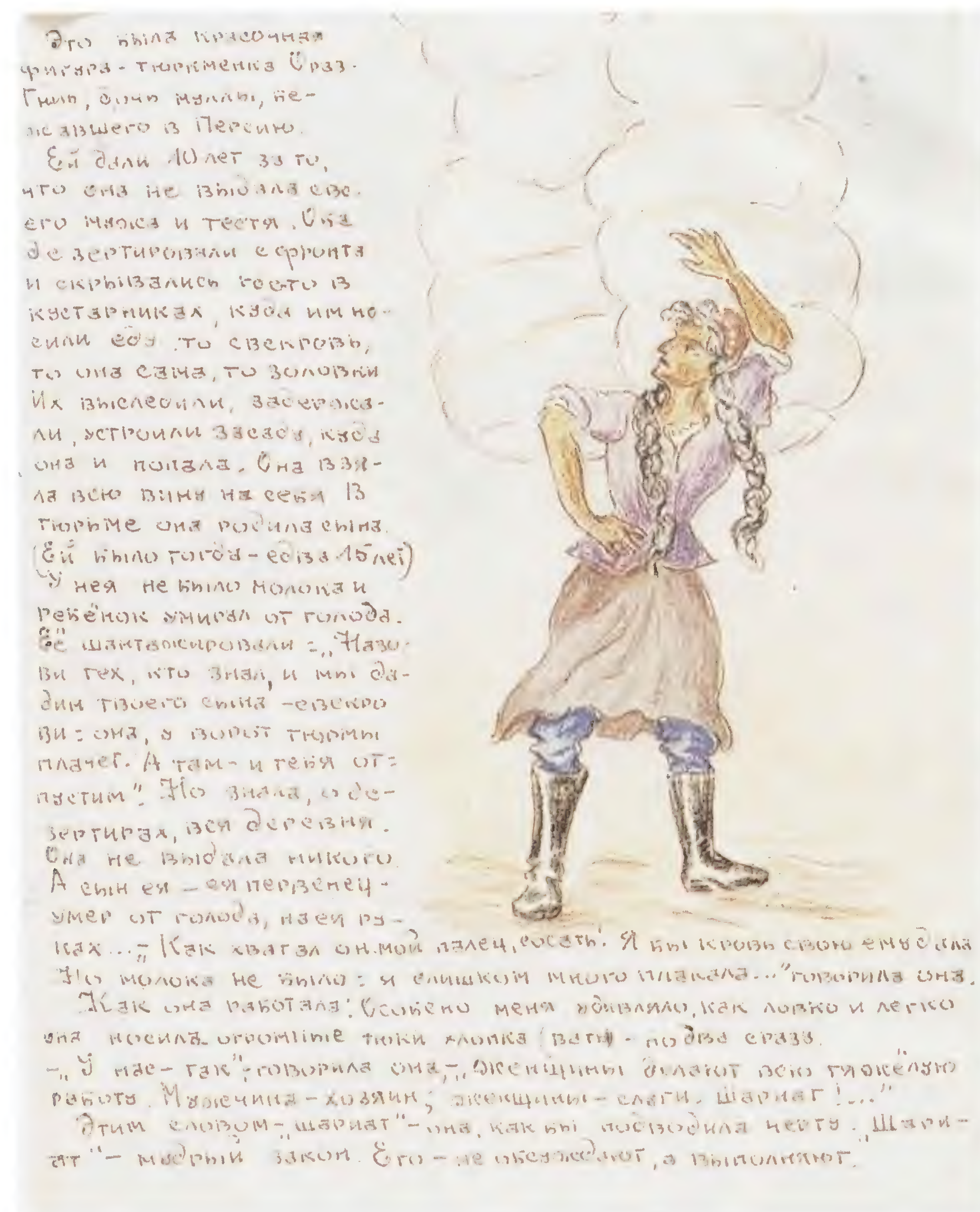


«Океанские ящики» весили... по 114 килограмм.

В этих ящиках — чистый спирт... Бедные девочки-хохлушки! Сколько их надорвалось на этой работе! Но это давало «зачеты», а следовательно, скорейшую свободу.



Чаще всего я имела дело с бочками соленой рыбы и так напрактиковалась, что при посредстве веревки и почти совсем без помощи могла укладывать штабеля в шесть ярусов.



Это была красочная фигура — туркменка Ораз-Гюль, дочь муллы, бежавшего в Персию.
Ей дали 10 лет за то, что она не выдала своих мужа и тестя. Оба дезертировали с фронта и скрывались где-то в кустарниках, куда им носили еду то свекровь, то она сама, то золовки. Их выследили, задержали, устроили засаду, куда она и попала. Она взяла всю вину на себя. В тюрьме она родила сына. (Ей было тогда едва 15 лет). У нее не было молока, и ребенок умирал от голода. Ее шантажировали: «Назови тех, кто знал, и мы дадим твоего сына свекрови: она у ворот тюрьмы плачет. А там и тебя отпустим». Но знала о дезертирах вся деревня. Она не выдала никого. А сын ее — ее первенец — умер от голода на ее руках... «Как хватал он мой палец сосать! Я бы кровь свою ему дала. Но молока не было: я слишком много плакала...» — говорила она.
Как она работала! Особенно меня удивляло, как ловко и легко она носила огромные тюки хлопка (ваты) по два сразу.
— У нас — так,— говорила она,— женщины делают всю тяжелую работу. Мужчина — хозяин; женщины — слуги. Шариат!..
Этим словом «шариат» она как бы подводила черту: шариат — мудрый закон. Его не обсуждают, а выполняют.



«По зачетам» я освободилась в августе 1952 г. (календарно должна была лишь в июне 1954 г.). Но меня не выпустили: решено было меня отправить... в ссылку, в Нарымские болота — туда, откуда я бежала в феврале 1942 г. Ждали «попутный конвой». Два месяца я была «вольно-невольной». Работала в «зоне» от скуки.
Однажды приехал в Норильск какой-то генерал — инспектировал лагеря. В секции, когда он вошел, я была одна. «Кто разрешил заключенной рисовать?» — спросил он. «Я уже два месяца, как срок закончила...» И по его просьбе рассказала о себе все — и про побег, и про вторую судимость. Выслушав, он ушел, но от дверей вернулся: «Покажите все же, что вы нарисовали?» Я как раз закончила копию с картины «Василий Теркин. Отдых после боя». «Вот это здорово! Ох, как хорошо!» — пришел неожиданно в восторг генерал. «Если вам нравится — возьмите себе!» — пожала я плечами. «А вам не жалко?» — «А я и себе нарисую». Сворачивая «Теркина», генерал пристально смотрел на меня.



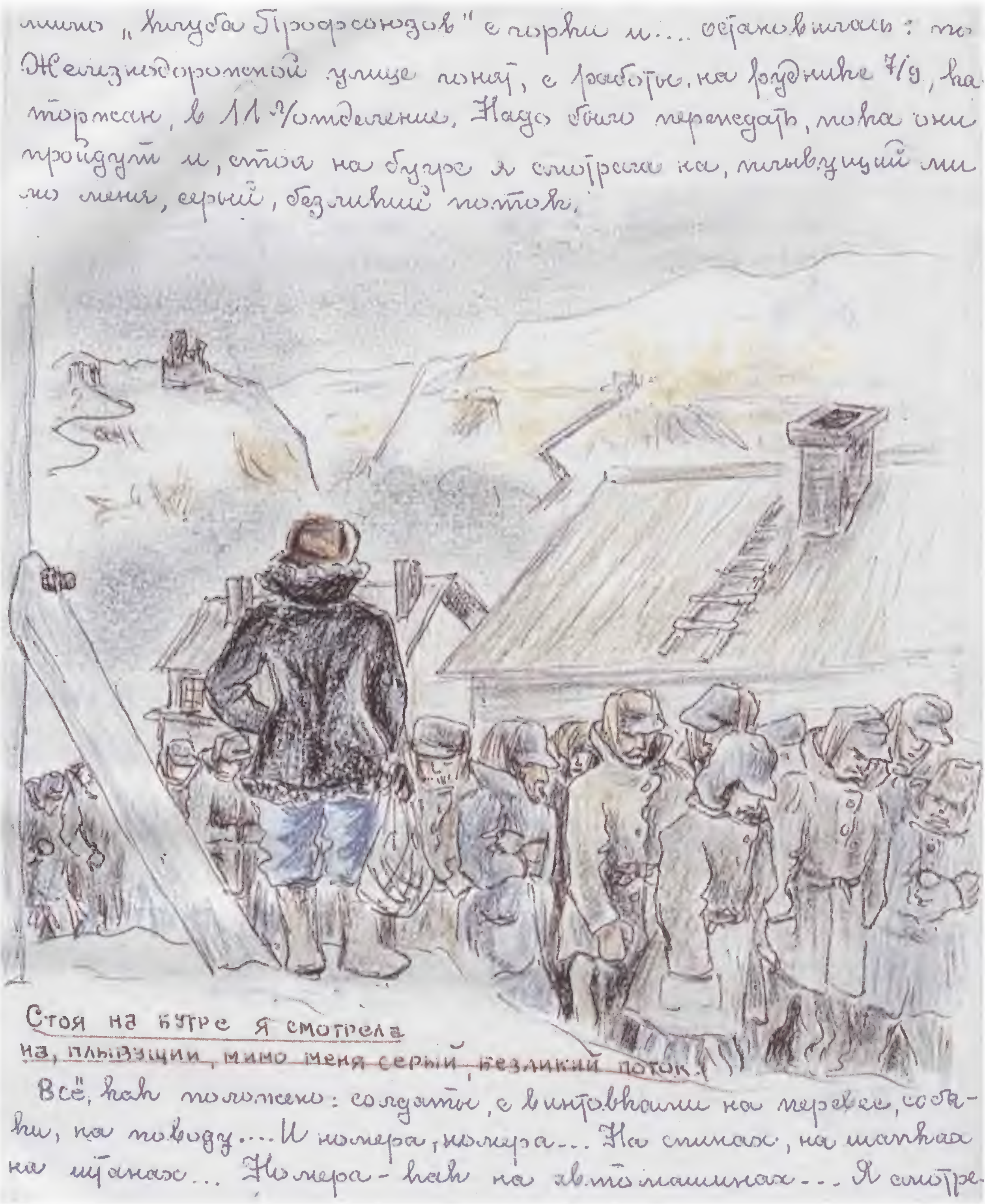
Мои первые шаги «в свободу»... Встретила меня пурга. Первая пурга этого года. Она швыряла мне в лицо снег, похожий на толченое стекло. Впереди — полная неизвестность: мне некуда приткнуться. Но я рада. Мне всегда было нелегко. И выйти мне было нелегко. Дело в том, что, когда покончили со всеми формальностями, мне дали на подпись еще одну бумажку... о том, что я забуду о всех тех, кто там остался, и никогда не буду говорить о том, что там видела и пережила. Я возмутилась: «Там остаются люди, которых я ценю и уважаю. Как это понимать? Лгать — я никогда не лгала и лгать не собираюсь. А говорить правду не только можно, но нужно». — «Но это просто формальность...» — «Подпись — это мое честное слово. И человек стоит столько, сколько его слово. Или — подпись».
И меня отвели обратно в зону.
Впрочем, на следующий день все же выпустили. И — без денег. У меня за все про все было 40 р. (старых).
С 1950 года лагерь был«на хозрасчете», т. е. нам начисляли «зарплату» (мизерную). Из нее удерживали «за питание» («гарантию»), а из оставшегося (а много ли остается?) половину — на руки, а половину — в «фонд освобождения» (для инвалидов). Освобождаясь, можно написать начальнику просьбу на часть «своих» денег из фонда. У меня там было около 3-х тысяч. Я отказалась.



— Бери! Не пожалеешь! — услышала я знакомый голос. Из соседней комнаты появился мой бывший начальник, майор Коваленко. — Она у меня работала. Это — настоящий шахтер! Если бы все бабы так работали, как она, я бы всех мужиков к... послал и с одними бабами бы работал! Мнение (веское, хоть и нецензурное) начальника УУШ возымело свое действие, и майор Левин — начальник кадров — рапорядился принять меня на шахту в виде исключения. Так оно и получилось, что я оказалась единственной женщиной на все 8 шахт Норильского комбината, по крайней мере, в 1952 году.



Третье, четвертое... пятое марта 1953 года... Великий... Единственный... Бессмертный? То, о чем никто не смел, не то что говорить, но думать... свершилось... Людоед болен... Людоед безнадежен... И вот Людоед... умер... Узнали мы об этом утром. «Мы» — это будущие штейгеры, т. е. горные мастера, учащиеся по курсу техникума в здании Горноспасателей.
Но как реагировать на это событие? Радоваться? Горевать?
Мне было смешно и... стыдно наблюдать, как наш «староста», начальник горноспасательного отряда Будник не смеет принять решение. Он ежеминутно подбегает к окну, раскрывает его, несмотря на мороз, высовывается и смотрит в сторону «города». Вот над зданием Проектного отдела поднялось и заполоскало черное знамя — знак траура. И Будник, который давно уверовал в то, что нельзя сметь свое мнение иметь, почувствовал под ногами твердую почву и начал проявлять бурную инициативу: флаги с трауром, траур на портреты и т. п.



Стоя на бугре, я смотрела на плывущий мимо меня серый, безликий поток.

...Вдруг камушек, завернутый в бумажку, стукнулся об мой валенок. Это были 500 рублей и записка: «М. поручил передать Вам деньги и благословение его матери: пусть Бог пошлет Вам счастье, а Вашей матери — обеспеченную старость!»

Выйдя на волю, я выполнила просьбу крепильщика Максимука — выслала его матери 500 рублей. Зачем он вернул мне эти деньги? Мне они были не нужны. Матери моей уже нет в живых... А вот благословение старой слепой женщины — это мне было очень, очень дорого!



Они получили инструмент, пришли на участок и... сели: «Мы работать не будем! Работай или не работай — почет и награда нам одна — пуля!» — заявили они мне.

После расстрела Берии свыше двухсот «спецкаторжан» написали петицию о пересмотре их дел. В числе подписавших — видные генералы, адмиралы, политработники... Дирекция лагеря решила с ними расправиться. Но каратели встретили сопротивление. Исход «боя» был предрешен... Среди расстрелянных «бунтовщиков» — 10 из 12 героев Брестской крепости.

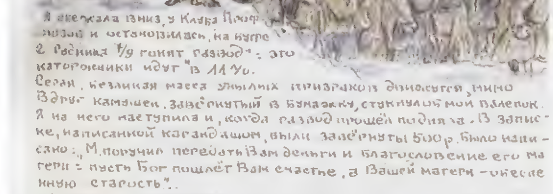
Каторжане нашей шахты устроили... сидячую забастовку. Через сутки они приступили к работе: «Нет правды — и не будет!»

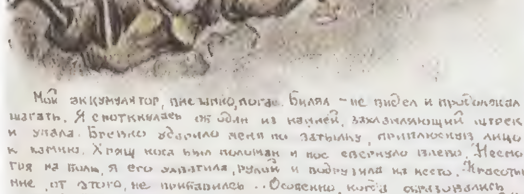


— Антоновна! Хоть вы дайте мне совет! — обратился ко мне старик-банщик,— завтра у меня «пересуд». Меня вызвали и предупредили, что я должен признать себя виновным. Тогда выпустят. Иначе — нет... Но не могу я, не могу. Да! Я виновен: я был бурмистром. Был псом у немцев: на всех гав-гав! Лошадей ли, подводы... Людей на работы гонял... В этом виновен. За это уже 10 лет кару несу. Но обвинили меня в том, что я согнал женщин и детей, в том числе двух своих внуков в церковь, и сжег их там... Но не было этого!!! И церковь не горела, и вообще такого случая не было... Ни я, ни кто другой... Нет, не могу! Но тогда... еще 10 лет! Ох! Хоть умереть на воле... Ей-Богу не знаю... Ценой лжи получить свободу? А как с себя ложь смыть — не знаю... Старик не признал себя виновным, и его вернули в лагерь. Через 5 месяцев его опять вызвали, и он признал себя виновным в том, что сжег детей... и его отпустили домой! Нелепо! Невероятно, но... именно так.

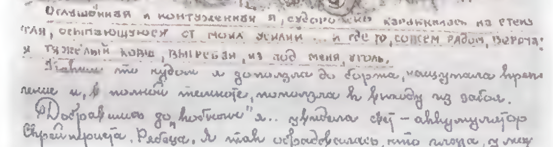


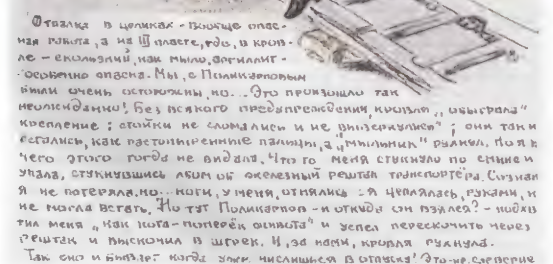
В годах 54-м и 55-м многое изменилось в Норильске. Изменилось и у нас на шахте. Каторжан освобождали пачками. Иных куда-то вывезли. И вот стали прибывать «энтузиасты» — комсомольцы из Ленинграда. А тут закрылась шахта «Западная» № 12, и целый поток начальников и равных придурков хлынул на нашу шахту. Бурильщиков не было: новенькие не умели и... не хотели браться за тяжелую работу; начальники хотели быть... начальниками. Разумеется, на мое место горного мастера поставили малограмотного и тупого начальника. Тогда я взялась за самую трудную работу, которой все боялись. Я — бурильщик!













НА ВОЛЕ

Может быть комары – к которым я так и не смогла привыкнуть – мешали мне „почувствовать" красоту этой „северной природы"? Возможно и так....

Да! Лето бывает яркое, солнечное; трава растёт быстро, цветов, фантастически много, но.... под травой, хлюпает вода, ноги проваливаются и, повсюду, бездонные трясины....

Да! Есть и цветы – преимущественно желтые, оранжевые и без запаха (исключение – незабудки, обладающие нежным ароматом, не такие, как на юге, они – не пахнут вовсе) Даже маки – и те жёлтые! Самые яркие цветы, это „жарки" (оранжевые), махровые лютики и фиолетовый „борец" – весьма ядовитый.

Я даже загорала... если ветер сдувал комаров...

Я даже загорала... если ветер сдувал комаров...

Шли годы. Работа, бесспорно, интересная, но изнуряющая. Я решила использовать отпуск. Я не пыталась никуда уехать. Куда? Нигде и никого у меня нет. Санатории — не для меня: я «лишена прав» и даже — не член профсоюза. Я провела свой отпуск, гуляя в тундре...



Непростительно умереть в Норильске, так и не побывав на родине... там, где светит солнце, где шумят деревья, где поют птицы... где живут близкие...

В ночную смену — я тогда была горным мастером — погиб абхазец Аржба. Бедняга! Как он радовался, что наконец отменена ссылка, и он сможет съездить на родину!.. Тогда же я приняла решение: отпуск 1956 года провести на юге...



Тепло, тихо... а главное, спокойно. Можно ли желать лучшего ночлега? Автобус — маленький дребезжащий драндулет — едва дотащился до Тифлиса к 9 часам вечера. На юге это — глубокая ночь. Город — не лес, где «каждый кустик — ночевать пустит»! Несколько попыток разузнать, куда бы приткнуться, натолкнулись на враждебность. Надо выйти из города. Но... куда? Слева — Кура; справа — гора. Я пошла вверх, в гору. Но все улочки заканчивались в чьем-либо саду, где спали хозяева. Так, идя все вверх и вверх, я дошла до какой-то церкви, за которой простиралось кладбище, обнесенное оградой с чугунными воротами на замке. Я перемахнула через ограду, отыскала комфортабельную могилу с широкой плитой черного мрамора. Кругом — кресты, ангелы, венки. Лучше не придумаешь! Камень еще не остыл, и я уснула, как только легла. Давно не спала так хорошо.

„Беременный Идол"

Побродив по берегу озера, я решила, поскорее добраться до Еревана: „запасы" мои — сухари и сахар — окончились, а пополнить их было нечем. В „ларьках" мелких посёлков, была абсолютная пустота: хлеба завозили очень мало; ни сахара, ни чего бы то ни было — и в помине не было. Надо было спешить в „столицу". Попутная машина довезла меня почти до города.

Ереван расположен высоко, но его окрестности — ещё выше, т.ч. в город дорога идёт под гору. И вот, при въезде в город — как бы доминируя над ним — я увидела... Каменную Бабу! В довершение всего — беременную...

Трудно вообразить себе монумент более нелепый и... вдобавок огромный. Наверное, метров в 8, в вышину! Грубо вытесанный идол должен изображать Великого Полководца, но, похоже он засунул правую руку за пазуху, что, глядя слева создаётся впечатление что это — беременная Каменная Баба!

Армяне славятся, как талантливые резчики по камню.

Но, глядя на это каменное страшилище трудно, об этом догадаться...

Опять вспомнился св. Владимир, велевший свалить идола Перуна привязав его к конским хвостам... Сколько тракторов понадобится, чтобы стащить, с пьедестала, этакого Идолища?

Как армяне — знаменитые резчики по камню — могли создать такую нелепую Каменную Бабу?

Как армяне — знаменитые резчики по камню — могли создать такую нелепую каменную бабу?



Погружённая в воспоминания, я быстро шагала по шоссе в сторону Цепилова. Я не обращала внимания на тех, кого обгоняла. Вдруг какой-то седенький старичок ринулся ко мне с воплем: „Dudu-că! Duducă noastră!" Старик ухватил меня за руку и плача, повторял „наша барышня". Тогда он назвался: Тодос Ротарь, а с ним его племянник, Василика — типичный молдаванин-красавец — кудрявый, черноглазый — настоящий „флакэу". От Тодоса я узнала о голоде 1947 года, когда пол-деревни умерли от голода. Это так дико звучало: Бессарабия... и смерть от голода? Нелепость какая-то!

Погруженная в воспоминания, я быстро шагала по шоссе в сторону Цепилова. Я не обращала внимания на тех, кого обгоняла. Вдруг какой-то седенький старичок ринулся ко мне с воплем: «Dudusă! Dudusă noastră!» Старик ухватил меня за руку и плача повторял «наша барышня»... Тогда он назвался Тодос Ротарь, а с ним его племянник, Василика — типичный молдаванин: красавец, кудрявый, черноглазый — настоящий «фракэу». От Тодоса я узнала о голоде 1947 года, когда полдеревни умерло от голода. Это так дико звучало: Бессарабия... смерть от голода? Нелепость какая-то!



Каким-то чудом, крест на папиной могиле уцелел, хоть самой могилы было не видать. И вообще, кругом была пустыня: ни красавцев-дубов, ни сада, ни дома... Вместо виноградника - овраг. Ничто не напоминало Цепилова - родного Цепилова! Пустыня....
Закроешь глаза и, в памяти встаёт всё то, что было; посмотришь... и сердце, от боли, сжимается..... Затем собрав в платочек горсть земли для ладанки и прихватив пучок душистого чабреца, я поцеловала крест и, не оглядываясь, пошла прочь. Я не думала, что родная земля может быть до того чужой! И долго преследовала меня что-то вроде фотографии, когда на том же негативе сделаны два снимка: сквозь отпечаток этой пустыни, с ямами от выкорчеванных деревьев, просвечивали силуэты могучих дубов и ряды фруктовых деревьев, кустов смородины....

Каким-то чудом крест на папиной могиле уцелел, хотя самой могилы было не видать. И вообще, кругом была пустыня: ни красавцев-дубов, ни сада, ни дома... Вместо виноградника — овраг. Ничто не напоминало Цепилова — родного Цепилова! Пустыня...

Закроешь глаза, и в памяти встает все то, что было; посмотришь... и сердце от боли сжимается... Затем, собрав в платочек горсть земли для ладанки и прихватив пучок душистого чебреца, я поцеловала крест и, не оглядываясь, пошла прочь. Я не думала, что родная земля может быть до того чужой! И долго преследовало меня что-то вроде фотографии, когда на том же негативе сделаны два снимка: сквозь отпечаток этой пустыни, с ямами от выкорчеванных деревьев, просвечивали силуэты могучих дубов и ряды фруктовых деревьев, кустов смородины...



Сумерки сгущались, когда я попала во двор, где на треноге старушка - маленькая, седенькая - варила абрикосовое варенье. Я подошла к ней. Старушка подняла голову и вдруг, взмахнув шумовкой, воскликнула: - „Ах! Фросенька! Как Александра Алексеевна обрадуется, когда узнает, что вы живы!" Всё вихрем закружилось в глазах у меня... Старушка, таз с вареньем, таганок... Да это - Смолинская, подруга моей мамы! Абрикосы выскользнули из моих рук и покатились по траве. На траве очутилась и я... „Мама? Мама - жива? Где она?"...
Но на этот вопрос Елена Георгиевна не могла ответить: три года тому назад, она слышала, как по радио, моя мама просила сообщить ей, если кто-либо знает, где ея дочь Евфросиния Антоновна Керсновская. В 54ом году она была жива. И была она в Румынии. Боже мой! Жива ли она теперь? Ей уже 79 лет... Всю ночь сидела я у Смолинских и писала письма в Румынию. Адреса Смолинская не запомнила, и я писала наугад - „на деревню дедушке".

Сумерки сгущались, когда я попала во двор, где на треноге старушка — маленькая, седенькая — варила абрикосовое варенье. Я подошла к ней. Старушка подняла голову и вдруг, взмахнув шумовкой, воскликнула: «Ах! Фросенька! Как Александра Алексеевна обрадуется, когда узнает, что вы живы!» Все вихрем закружилось в глазах у меня... Старушка, таз с вареньем, таганок... Да это — Смолинская, подруга моей мамы! Абрикосы выскользнули из моих рук и покатились по траве. На траве очутилась и я... «Мама! Мама жива? Где она?»... На этот вопрос Елена Георгиевна не могла ответить: три года тому назад она слышала, как по радио моя мама просила сообщить ей, если кто-либо знает, где ее дочь Евфросиния Антоновна Керсновская. В 54-м году она была жива. И была она в Румынии. Боже мой! Жива ли она теперь? Ей уже 79 лет... Всю ночь сидела я у Смолинских и писала письма в Румынию. Адреса Смолинская не запомнила, и я писала наугад — «на деревню дедушке».





Лай собак, стук калитки разбудили всех: на пороге показалась Алевтина Ивановна в ночной рубашке, за нею — Ариша и, протискиваясь вперед и протирая кулаками глаза, заспанный толстяк Сашка: «Где реактивный самолет?»
Но я ничего не видела и не слышала: я читала и перечитывала невероятно безграмотно перевранную международную телеграмму: «...благословляю, целую, обнимаю...» и опять: «...благословляю...» А сердце пело на все лады: «Жива! Жива моя старушка! Родная, единственная!» И я боялась расплескать то счастье, которое не могло вместиться в моем сердце...

Я все еще надеялась получить ответ из Румынии... Поэтому я поехала в Ессентуки к знакомым, чей адрес я указала в своих письмах...
...Первое, что я решила сделать,— выслать маме деньги на приезд. Боже мой, до чего я наивна! То, что в любой стране является само собой разумеющимся, здесь оказывается невозможным. За 17 лет в СССР я еще не всему научилась. Оказывается, для этого нужна санкция... Микояна.
Встреча с восьмидесятилетней мамой состоялась только через год, в следующий отпуск...



Стоит ли говорить о своей „квартире"... даже если она — всег 5м²? К тому же — со всеми... „неудобствами? Но дело в том, что, последние 20 лет я, впервые, могу остаться одна и могу отдыхат Хоть последний мой год в Норильске я знала, что никто не нас пит на голову! Воду надо было носить чуть не за пол-километра, а клозет (вернее — отвратительный нужник) на втором квартале. Сосед мои были, мягко выражаясь, незавидные: через корридор — дверь в дверь — жил составитель поездов, с женой. Затрудняюсь решить, кто из них чаще бывал пьян? Рядом — пьяницы.

Стоит ли говорить о своей «квартире»... даже если она всего 5 кв. м.? К тому же — со всеми... неудобствами? Но дело в том, что за последние 20 лет я впервые могу остаться одна и могу отдыхать. Хоть последний мой год в Норильске я знала, что никто не наступит на голову! Воду надо было носить чуть не за полкилометра, а клозет (вернее, отвратительный нужник) — во втором квартале. Соседи мои были, мягко выражаясь, незавидные: через коридор — дверь в дверь — жил составитель поездов с женой. Затрудняюсь решить, кто из них чаще бывал пьян? Рядом — пьяницы.



Сколько раз, торопясь на работу, я шагала, напрямик, по „шанхайникам" — балкам, занесенным снегом, переступая через антены радио и внимательно присматриваясь, что б не угодить, ногой, в трубу!

Сколько раз, торопясь на работу, я шагала напрямик по «шанхайникам» — балкам, занесенным снегом, переступая через антенны радио, и внимательно присматриваясь, чтоб не угодить ногой в трубу!



...ведь вот она, в дверях столовой! Старенькая, седенькая, как-то беспомощно разведя руки... и с такими знакомыми, сияющими от радости и счастья, любящими, бесконечно-ласковыми, совсем молодыми глазами!

Одесса. Город моего детства. Там, в глубине двора на улице Канатной (теперь — Свердлова), в квартире папиной крестницы и моей первой учительницы меня ждет мама...



...полной уверенности, что наш коттедж в случае непогоды не рухнет, у меня не было... И все же это было довольно-таки уютное жилище. «С милой рай... и не в таком еще шалаше!»

Это был своего рода «медовый месяц». Идиллия началась на палубе теплохода «Украина». Затем — Сочи, Хоста, Адлер, Пицунда, Новый Афон, Гагры...



Как быстро промелькнул наш «медовый месяц» на Черноморском побережье Кавказа! И еще месяц мирной жизни в семье друзей. И вот я в Минводах, на старом аэродроме. Трап уже откатили. В последний раз мелькнуло в иллюминаторе дорогое мне лицо моей старушки. Я перекрестила ее... И вот я опять одна...

— Не грусти! Старушка вернется,— сказал, проходя мимо, один из рабочих аэродрома.

«Вернется». Легко так говорить... Нам предстоит разлука на два года или... навсегда? У нее — возраст, у меня — шахта... Доживем ли? И странное дело! У меня стало как бы легче на душе. Как будто бы сочувствие совершенно незнакомого мне человека является своего рода ручательством, что она действительно вернется... Через 2 дня улетела и я. На Север. В шахту.

В Ессентуках выяснилось, что «органы» нас безнадежно потеряли. Вот уж не думала, что восьмидесятилетняя старушка может быть объектом пристального наблюдения «Всевидящего ока». Это — еще один урок в моем «высшем образовании»... А я-то думала, что уже всё знаю!..



Все, что у меня осталось: родная могила и память о пережитом. И на кресте твоем клянусь, что все, что здесь написано,— правда и только правда.

Мама! Ласковая моя старушка! Я выполнила твое желание. Всё, что здесь написано,— правда. А правда — вечна. Но иногда эта правда ужасна... Может, такую правду лучше вычеркнуть из памяти? Но что тогда останется? Пустое место, куда заползает ложь!



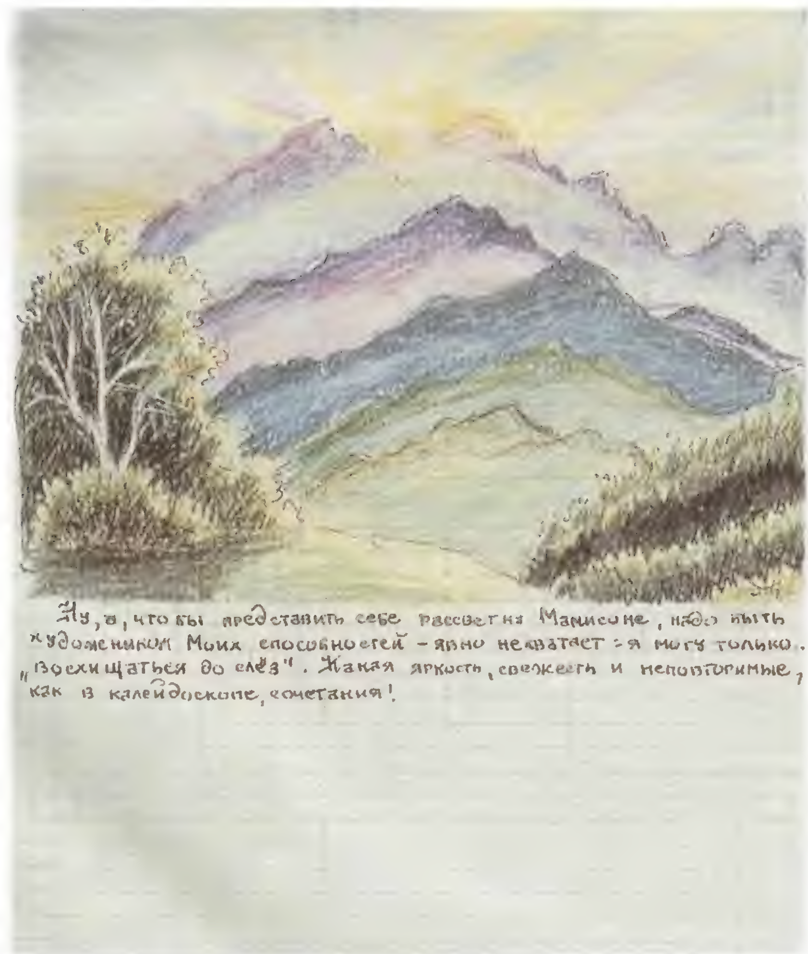


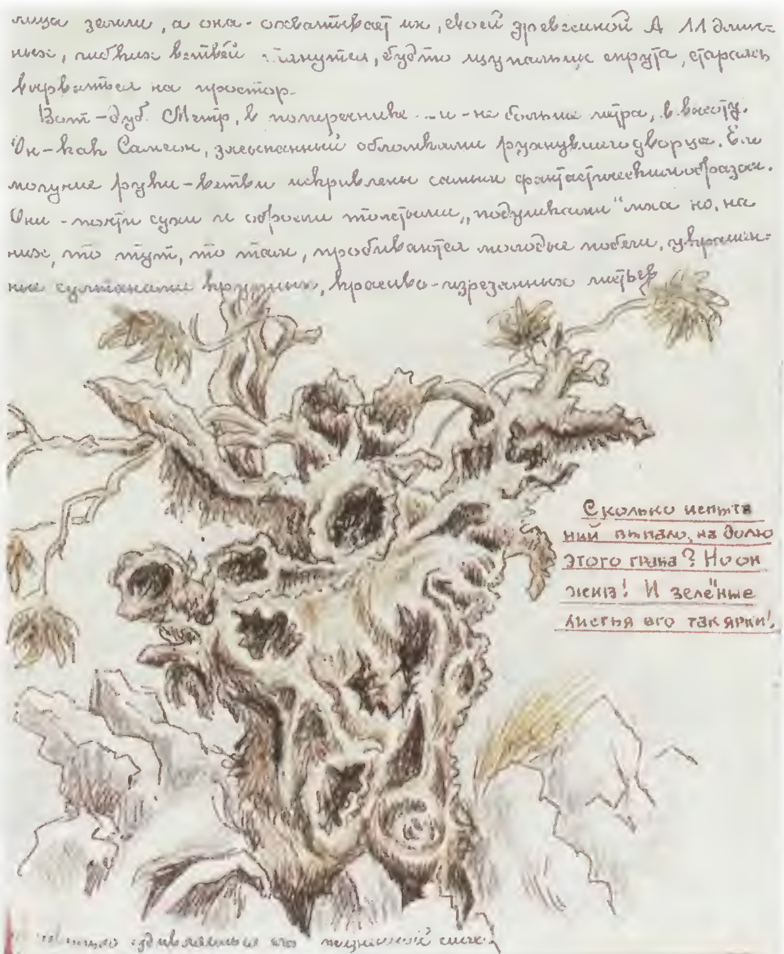





Было воскресене. Лесорубы разошлись по домам.
Подвесная „коляска" висела без дела. Что же? Это – тоже вид транспорта... Почему бы его не испробовать?
Особого удовольствия я, положим, не испытала: трос – лохматый и колючий – исколол мне руки. Переправа на левый берег была нелегка; зато назад, на правый берег „коляска" сама мчалась „с ветерком".
Но, если уж сказать правду, настоящей радости – того телячьего восторга, что прежде – я не испытывала: как заноза, в душе, болела мысль: жива ли мама, найду ли я её? Доживем ли, до встречи?


Я не знала, что существует сосна – реликтовая пицундская сосна, которая не боится солёной воды и может расти на самом берегу.
Мне кажется, что Пицунда – роща на берегу полуострова – самое красивое место на Черноморском побережьи! И как обидно, что теперь этого больше не увидишь! Половину рощи исполосовали, построив там нелепые „Дома Отдыха", а другую половину обнесли, для Хрущёва, глухой стеной в 5 м. Даже ворота – из глухого железа! 12 километров идешь рядом со стеной... и даже вершин сосен не видно! А в море – идёт решетка.


Ну, а, чтобы представить себе рассвет на Мамисоне, надо быть художником. Моих способностей – явно не хватает: я могу только „восхищаться до слёз". Какая яркость, свежесть и неповторимые, как в калейдоскопе, сочетания!


Сколько испытаний выпало на долю этого гиганта? Но он жив! И зелёные листья его так ярки!


приняла решение: „хочу увидать Кавказ!"
На самой вершине Развалки встретила я восход солнца; здесь я и решила: „хочу увидать Кавказ!"
„Аппетит приходит вовремя еды"


Это была странная картина....

Это было страшно... и прекрасно
В природе творилось что-то невообразимое!
„Лес – наше богатство".

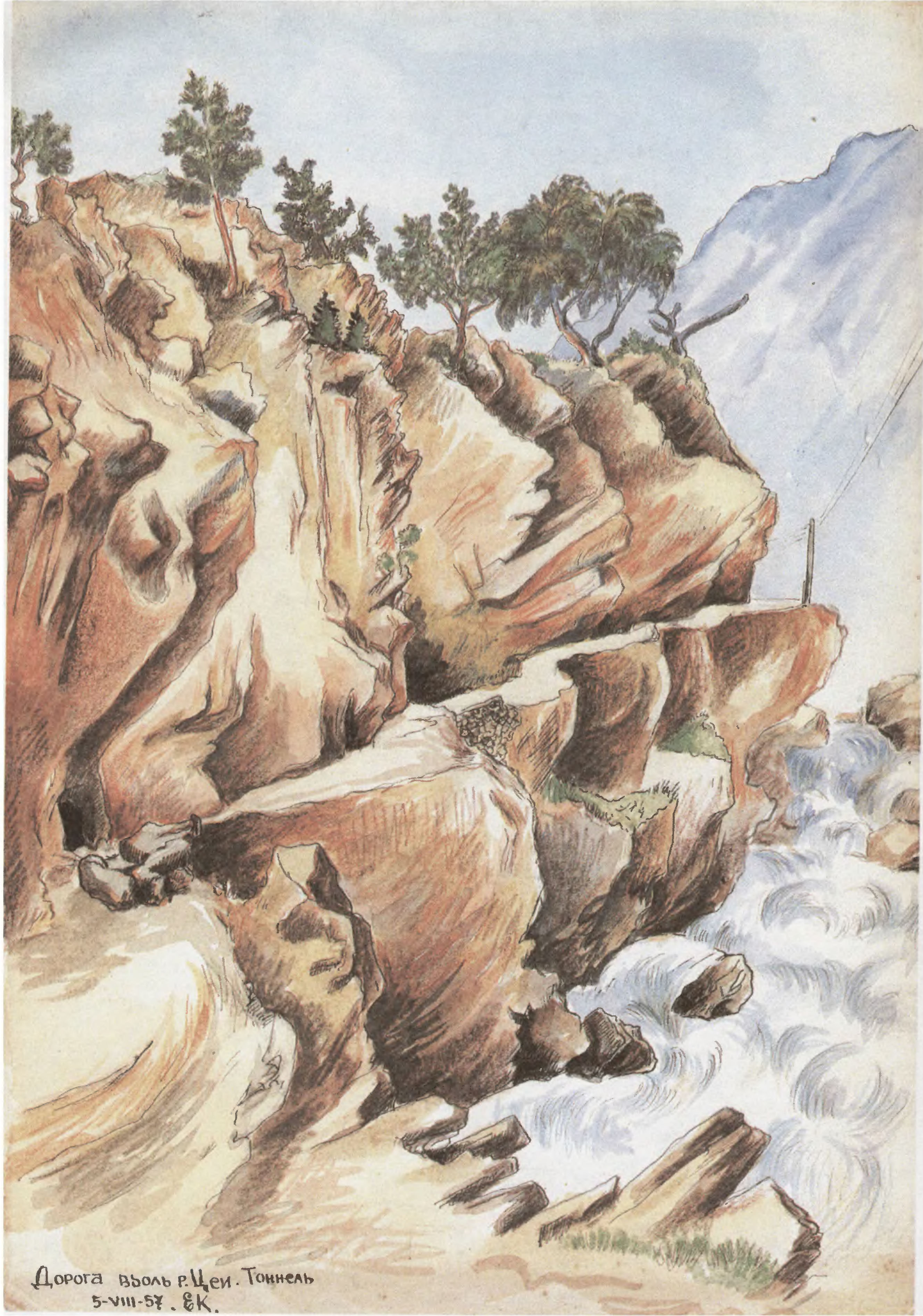

Эти скалы до того фантастичны, что кажется невероятным
что это – творчество „Мастера Природы", а не ...декорации.....


Но.. что это? Навстречу идет – почти бежит старуха....


Встреча на
„Ингурской Тропе"
Ночь
на Ингурской Тропе
Такая встреча
оставляет очень
мало удовольствия


„Открытие" шахтёрского кинотеатра должно было состояться на Новый Год, а, что бы зал был „нарядным", профорг шахты попросил меня нарисовать „панно" на сказочные темы. Я охотно согласилась, но с одним условием: это будет мой подарок шахте и рисовать я буду после работы. Только, что бы холсты на подрамниках и краски были предоставлены заблаговременно. Разумеется, все вышло не так: лишь в середине декабря, в фойе театра принесли 15 подрамников, размером от 2-х до 5-ти м. А красок, вообще, кроме мела, синьки и столярного клея – не дали.
И я принялась за дело... В ход пошли все мои запасы – целый чемодан. Были у меня и акварель и темпера и гуашь... и чёрный кофе, чтобы выдержать, без сна и отдыха, две недели. В шахте я работала ночью, а днём рисовала. Питалась тем, что было в шахтёрском буфете – чёрствыми пирожками, кислыми котлетами и киселём. И пила кофе... И – „творила"... Последнюю картину" я закончила, когда уже собирались гости". И – свалилась, без сил. 1-го и 2-го января я спала, как убитая


Ночь на вершине Иверской горы.
Новый Афон
25-VIII-ЕК.


Дорога вдоль р. Цеи. Тоннель
5-VIII-57. ЕК.


Мамисонский перевал
и ледник, откуда берёт
начало река Рион
4-VIII-57 г. ЕК.



Евфросиния КЕРСНОВСКАЯ НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ ЖИТИЕ ЕВФРОСИНИИ КЕРСНОВСКОЙ 8 В БЕССАРАБИИ 19 БЕЗ МАМЫ 47 ДОРОГА В СИБИРЬ 73 ССЫЛКА 87 ЛЕСОПОВАЛ 107 ПОБЕГ 131 НЕВОЛЯ 175 СЛЕДСТВИЕ 195 ЭТАП 205 ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ 223 СВИНАРНИК 245 ТЮРЬМА — ВСЕГДА ТЮРЬМА 255 ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ЛАГЕРЯ 271 МОРГ 293 ЛАГПУНКТ «НАГОРНЫЙ» 309 ШАХТА 319 ВЕК ЖИВИ — ВЕК УЧИСЬ! 337 НА ВОЛЕ 359 ПРИЛОЖЕНИЕ 375



Евфросиния КЕРСНОВСКАЯ

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Альбом

Редактор-составитель В. Вигилянский
Художественный редактор Н. Антонов
Корректор М. Никифорова
Цветная корректура —
Художник репроцентра Ю. Карманов
Цветоделение Ю. Назаров
Ретушер В. Кускова

ИБ №

Сдано в набор 19.11.90 г.
Подписано в печать 3.09.91 г.
Формат 60 × 108/8
Бумага офсетная
Гарнитура «Таймс»
Печать офсетная
Усл. печ. л. 48.
Тираж 40 000 экз. Зак № 1437. Цена 50 руб.

СП «Квадрат»
103009, Москва, Калашный пер., 10

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР
по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

ЕВФРОСИНИЯ КЕРСНОВСКАЯ

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. В Бессарабии. Без мамы. Дорога в Сибирь. Ссылка. Лесоповал. Побег. Неволя. Следствие. Этап. Исправительно-трудовой лагерь. Свинарник. Тюрьма — всегда тюрьма. Центральная больница лагеря. Морг. Лагпункт «Нагорный». Шахта. Век живи — век учись! На воле.

«Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего; отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою.» Иер. XIV, 7